## Поэт

Автор: *Искандер Ф.*

Поэт

Фазиль Абдулович Искандер

Фазиль Искандер

Поэт

Повесть

Всем известный и никому не ведомый

Юрий Сергеевич Волков был романтическим поэтом, и притом очень талантливым.

Однако стихи его редко печатали, и в сорок пять лет у него не было ни одной книги. Речь идет о блаженных временах блаженного Брежнева. У Юрия Сергеевича было хроническое свойство раздражать начальство. Раздражать всем – голосом, стихами, внешностью.

Начнем с голоса. Как известно, с глупыми говорят, как с глухими, громким голосом. Возможно, наш поэт бессознательно убедился, что этот мир глуп и в нем надо очень громко говорить.

У него был голос громовержца. Даже во время застольной беседы он говорил яростно и громко, как революционный оратор с трибуны. Если друзья делали ему замечания, он с некоторой самоиронией рассказывал о том, что в юности над ним шефствовал последний поэт-акмеист. Старик был так глух, что приходилось кричать ему в ухо. С тех пор он привык так говорить.

Когда он читал стихи в ресторане, а обычно он там их и читал, немедленно являлся метрдотель и пытался выяснить, чем вызван скандал. Если он до его прихода успевал прочитать стихи. А если не успевал, то, что бы ни говорил метрдотель, он продолжал их читать, пока они не кончались. Мощь его голоса и могучая внешность производили неотразимое впечатление, особенно на незнакомых людей.

Однажды в жаркий летний день мы сидели с ним в незнакомом ресторане.

– Официант! – крикнул он. – Виски с айсбергом!

Официант был так потрясен его уверенным голосом, что растерянно ответил:

– Извините, айсберги еще не завезли.

Его стихи раздражали литературное начальство тем, что не были ни советскими, ни антисоветскими. Они были написаны так, как будто социальная жизнь вообще не существует. Это злило еще и тем, что невозможно было конкретно указать на какие-то строчки, которые надо убрать или переделать, чтобы стихотворение было достаточно приемлемо для советской власти.

Кое-как все это можно было бы простить, если бы поэт был какой-то божий одуванчик, далекий от действительности. Изливаясь мощной энергией, стихи его были полны примет места и времени, примет всех краев России, где он побывал, и – неслыханная наглость – примет всех краев Европы, где он явно не бывал.

Это уж они знали точно. Кроме того, там были всемирные названия сигарет, напитков, гостиниц, городов и даже бесчисленных островов Средиземноморья, словно он на яхте с другом-миллионером, лениво прихлебывая джин с тоником, пришвартовывался к ним, точнейшие названия предметов интимного женского туалета и так далее и тому подобное.

А язык! Словарь филологов и шпаны, фальцовщиков и астраханских рыбаков, староверов и физиков, тюркизмы, украинизмы, с размаху вброшенные им в русскую речь, где они, мгновенно русея, свободно плавали, как в родном море!

Да, язык у него был богат, но он терпеть не мог выдуманные слова. Он считал Маяковского великим поэтом за его любовную лирику, но изображал преувеличенный ужас, когда речь заходила о его словотворчестве. Он считал это безумным кривляньем. Из всех словообразований Маяковского признавал только одно – «выжиревший»:

Как выжиревший лакей на засаленной кушетке.

– Здесь это слово уместно, – говорил он. – Оно хорошо передает длительность пребывания лакея на кушетке. Но с другой стороны, какой барин позволит лакею долго лежать на кушетке? Разве что Обломов.

Да, его богатый язык никогда не поворачивался против советской власти, но и никогда не пытался лизнуть ее.

Начальству было решительно непонятно, как с ним быть. В то же время он одинаково свободно общался с упертыми державниками и с непримиримыми диссидентами. Идея исторического величия России ему была не чужда, и державники ждали, когда он дозреет до мысли, что за это величие надо драться закатав рукава. Но он закатывать рукава не спешил, ибо под величием России подразумевал ее культуру.

Точно так же ошибались и диссиденты. Видя обилие примет западной жизни в его стихах, они считали, что он вскоре дозреет до западничества и станет диссидентом. Но и этого не случилось.

По поводу подозрений в нелояльности он написал шутливую эпиграмму, которую действительно нельзя было напечатать:

Подсолнух следит за солнцем.

Ромашка следит за подсолнухом.

Я слежу за ромашкой.

Цензура следит за мной.

Наконец рукопись его стихов в одном издательстве передали критику, известному – да что известному! – главнейшему расшифровщику антисоветского подтекста! Тот долго изучал стихи нашего поэта и наконец написал на них обширную рецензию, которую почему-то в редакцию прислал по почте. Этого с ним никогда не случалось. Обычно он свои расшифровки приносил сам, чтобы лично упиваться удивлением работников редакции своей безошибочной угадчивостью.

На этот раз работники издательства не успели удивиться его рецензии в виде письма, как вынуждены были поразиться ее содержанию.

Автор рецензии писал, что тщательный анализ стихов показал: антисоветский подтекст в них, безусловно, существует, но он так разросся, что отделился от текста и ведет автономное существование – по-видимому, там, где его хранит автор.

Пораженная редакция попыталась связаться с критиком по телефону, но услышала только истошный крик его жены, что мужа увезли в психбольницу.

– Что за стихи вы ему дали на рецензию! – визжала она. – Я по суду буду требовать уплаты штрафа за производственную травму!

Оказывается, в сознании критика стихи окончательно расщепились на текст и подтекст, что, в сущности, рано или поздно с ним должно было случиться.

Через неделю ему удалось переправить из психбольницы коротенькую открытку, написанную второпях химическим карандашом. Он рекомендовал редакции, включив КГБ в поиски подтекста, обыскать квартиру автора в Москве и квартиру его родственников в Астрахани, откуда тот был родом. По словам критика, успех операции мог обеспечить только одновременный обыск в обеих точках, при этом именно по московскому времени, а не по астраханскому. В последнем случае все может развалиться.

– Я свел с ума десять женщин и одного критика! – гремел по этому поводу наш поэт.

– Уполовинься! – с хохотом отвечали ему на это друзья.

– По-вашему, правдоподобней звучит, – невозмутимо гудел в ответ наш друг, – пять женщин и полкритика?

Однако книги его по-прежнему не печатались, хотя издательские начальники не решались назвать его антисоветчиком. Во-первых, этого действительно не было, а потом, политически было нецелесообразно подталкивать его в ряды антисоветских писателей, которых становилось все больше и больше по той простой причине, что их почти перестали арестовывать, хотя и не начали печатать.

Поэтому на рукописях его стихов, попадавших на глаза начальству, следовала бабья резолюция: «Надо годить». Вот и годили десятилетиями.

А если же он сам попадался на глаза начальству, годить приходилось еще больше. С одной стороны, огромный, как богатырь, а присмотреться – рыхловатый. С другой стороны, горящие, черные цыганские глаза под густыми черными бровями. Но цыганские ли это глаза, мучительно думали литературные начальники.

Сам он нередко с гордостью говорил, что в его русской крови есть цыганская примесь. Любил повторять стихи Дмитрия Кедрина, кончающиеся такой строфой:

В цыганкиных правнуках слабых

Тот пламень дотлел и погас,

Лишь кровь наших диких прабабок

Нам кинется в щеки подчас.

Нет, в глазах нашего поэта тот пламень не дотлел и не погас! Однако патриотическое чувство начальства подсказывало: русскому народу не нужен рыхлый богатырь с черными цыганскими глазами. Некоторые наиболее рьяные патриоты, считая, что его псевдоцыганские глаза есть не что иное, как очередной еврейский обман русского народа, послали в его родную Астрахань небольшую делегацию, чтобы она там порылась в архивах и выяснила его истинное происхождение. Кроме того, они посоветовали делегации попутно присмотреться к носам его родственников. Посланцы для облегчения своей задачи решили начать с носов, но потерпели фиаско: носов не оказалось. В доме, где раньше жили его родственники, соседи сказали, что все они разъехались по разным городам, а один даже живет в Москве и пишет стихи.

– Про него знаем, – сдержанно согласились члены делегации.

Стыдясь прямо спросить о носах родственников, они якобы из праздного любопытства поинтересовались, не осталось ли у них фотокарточек разъехавшихся, особенно в профиль. Соседи почему-то на это страшно обиделись.

– Нет никаких фотографий! – ответили они и злобно добавили: – Особенно в профиль!

Однако в архиве посланцы выяснили, что наш поэт дворянского происхождения, а в девятнадцатом веке его прадед в самом деле был женат на цыганке.

– Посланцы говорят, что русский дворянин, – повздыхали пославшие. – Если их по дороге евреи не перекупили.

Тогда еще, при советской власти, на фоне некоторого изнурения большевиков в вопросе выяснения классового происхождения сограждан, несколько оживился интерес к их расовому происхождению и одновременно стало модным быть причастным к русскому дворянству. Многие ринулись в дворянство.

Возможно, некоторые наивные люди решили, что остаткам самого истребленного класса в России будут платить пособия, подобно тому как немцы, удивляясь своей неаккуратности, платят пособия своим случайно недобитым евреям.

Ожидавшие пособия явно погорячились. Но все еще ждут.

– Что ж ты молчал, что ты аристократ? – спросили у него державники.

– Запомните, аристократ и есть истинный демократ, – ответил наш поэт, чем немало смутил их. С одной стороны, было неприятно, что он причисляет себя к демократам, а с другой стороны, было приятно, что демократы-то наши липовые, поскольку они явно не аристократы.

Он вообще мог припечатать словом. Одного глупого популярного романиста, обладавшего бешеной еврейской энергией и в год ухитрявшегося выпустить два антисемитских романа, он назвал:

– Вулкан с головой цыпленка.

Слова его подхватили в литературных кругах. Злые языки говорят, что экспедицию в Астрахань снарядил, и притом за собственный счет, именно этот романист.

Несмотря на бедность, одет наш поэт был всегда франтовато. Какой-нибудь новый директор издательства, впервые увидев его в своем кабинете и пытаясь встретить по одежке, принимал его за процветающего советского писателя, терпя неимоверный голос и объясняя его близостью к начальству и робея перед его богатырским сложением, рыхловатость которого несколько скрывала ловко пригнанная одежда. Но потом, выяснив, что этот седовласый господин хлопочет об издании своей первой книги, приходил в ярость, принимая его за авантюриста и графомана.

Когда он входил в кабинет начальника и голосом громовержца начинал говорить, начальник всей шкурой чувствовал, что этого человека слишком много, что он самим своим обилием делает кабинет тесным для двоих и тем самым выталкивает начальника, сдувает его голосом, что начальнику, естественно, не нравилось, и он спешил сам изгнать его, пока не оглох и силы его не оставили.

– Уполовинься, тогда, может, что-нибудь получится, – говорил ему его единственный доброжелательный редактор, двадцать лет перетасовывавший стихи его первой книги, которая, по существу, уже была пятой, но находилась среди рукописей начинающих поэтов.

Так он жил в литературе, всем известный и никому не ведомый. Он жил, как ледокол, застрявший в океане ваты. Какой-то рок витал над судьбой его поэтических книг.

Одно время появился довольно либеральный секретарь Союза писателей. Ему доверяли, потому что его либеральность уравновешивалась общенародной склонностью к алкоголю. Он стал опекать нашего поэта с тем, чтобы в дальнейшем помочь ему выпустить книгу. Это был действительно культурный человек и в силу своей культуры понимал, что в стихах нашего поэта нет ничего антисоветского и он ничем не рискует.

Их связывала любовь к поэзии и любовь к выпивке. Выпивая с нашим поэтом, он коллекционировал и одновременно заспиртовывал его остроты. Излишне говорить, что наш поэт был блестящим собеседником. Секретарь Союза писателей, сидя с ним в писательском ресторане, приучал издательское начальство, которое тоже не чуждалось ресторана, к тому, что наш поэт свой человек и только глупые рецензенты не могут привыкнуть к его оригинальности. И уже все было на мази, книга нашего поэта наконец попала в издательский план, и ему даже выписали аванс.

Но однажды секретарь Союза вместе с нашим поэтом сидел в большой компании в писательском ресторане. В какой-то миг секретарь Союза посмотрел на часы и, вставая, сказал:

– Мне пора в президиум.

Предстояло большое писательское собрание. И вдруг наш поэт (кто его дергал за язык!) громогласно сострил:

– Он сказал: изыди, ум! И ушел в президиум.

Все рассмеялись, в том числе и секретарь Союза. Однако, оказывается, он затаил деятельную обиду. Мало того что дружба на этом кончилась, главное, книга нашего поэта таинственно исчезла из издательского плана. Правда, аванс назад никто не потребовал, да он и не отдал бы.

– Мне надоел этот директор комиссионного магазина культуры, – позже говорил про этого секретаря наш поэт.

Про одного малокультурного, но очень плодовитого прозаика он однажды сказал:

– Его надо немедленно внести в книгу рекордов Гиннеса! Он уникальный писатель! Первая книга, которую он прочел в жизни, была его собственная первая книга!

Слух о сказанном, конечно, дошел до плодовитого писателя. И тот, по-видимому долго обдумывая, нашел злой ответ:

– Пусть он позаботится о внесении меня в книгу рекордов Гиннеса. А я позабочусь о судьбе его книг здесь.

И, видимо, позаботился, как и многие другие. Книга нашего поэта никак не могла пробиться в печать.

Я забыл сказать, что у нашего поэта был высокий шанс издать книгу еще задолго до либерального секретаря Союза писателей. Это было время, когда вероломно сняли Хрущева и назначили Брежнева. Начальники не без основания были уверены, что в скором времени Сталина реабилитируют. Об этом они жарким, влюбленным шепотом говорили друг другу. Да и многие обычные люди догадывались об этом. Но наш поэт ни о чем таком не догадывался.

В пику нескольким диким выступлениям Хрущева против художников и писателей, где тот топал ногами и кричал на них, и выступления эти были еще у всех на слуху, хотя самого Хрущева уже сняли, – так вот, в пику этим его выступлениям Союз писателей рискнул поддержать нашего поэта и издать его книгу. Мол, не топаем, не кричим, но выискиваем таланты и подымаем их.

А с Хрущевым, в сущности, вот что было. Друзья Хрущева прослышали, что номенклатура готовит против него переворот под кодовым названием «Атака на цыпочках». Они предложили Хрущеву упреждающий жест: мирно повесить на Красной площади пять-шесть интеллигентов, нет, не больше, и тогда номенклатура испугается и притихнет. А чтобы Запад не поднимал шум, оформить повешенных интеллигентов как добровольцев.

А наивный Хрущев вместо этого топал ногами и кричал на художников и поэтов, при этом делал страшные гримасы, дескать, не к вам это относится, а к номенклатуре: вы не бойтесь, а только делайте вид, что испугались.

Ничего себе – делайте вид! А тут еще кто-то стал распространять слух, что пять-шесть человек повесят.

– Но не больше! – оптимистично добавлял он. – Хрущев покричит, потопает ногами, а потом пять-шесть интеллигентов повесит.

– Кого именно? – пытались дознаться представители художественной интеллигенции у того, кто эту весть принес.

– В том-то и дело, что неизвестно, – отвечал он.

Что делать? Если точно знать, что тебя именно повесят, можно было бы героически выступить против выпадов Хрущева. Но точно никто ничего не знал.

Деятели искусства, как люди исключительно нервные, мягко говоря, растерялись, чего никак нельзя сказать про номенклатуру, которая, слушая топанье и крики Хрущева, бормотала среди своих:

– Ну и что! Ну и что! Пусть топает! Мы топать не будем.

И потому все так получилось. Другое дело, если бы Хрущев тихо-мирно повесил на Красной площади (даже не обязательно на ней!) пять-шесть интеллигентов, нет, больше не надо было, тогда, конечно, и номенклатура сильно призадумалась бы. И тогда вместо того, чтобы на цыпочках атаковать, она, скорее всего, на цыпочках разошлась бы. Да что теперь говорить об этом! Да мы о другом! Да не наше это дело!

Мы о нашем поэте. Для начала решили попробовать его на эстонцах. Союз писателей устроил в Таллине вечера московских поэтов. Для укрепления дружбы народов. Как всегда, на такого рода мероприятиях наше пролетарское государство проявляло купеческое гостеприимство, по-своему используя ленинский лозунг: мы не все старые ценности сдаем в архив. И как всегда, начальников приехало больше, чем поэтов.

Заключительный вечер состоялся в переполненном театре. Наш поэт имел бешеный успех. Впервые в жизни его голос естественно соответствовал размеру помещения.

Он читал стихи о России и о Европе. Чудные стихи о чудных, видимо средиземноморских, островах особенно понравились слушателям. Они дивились тому, что, сидя в Москве, можно восхищаться европейскими красотами и при этом не оказаться в районе Магадана с красотами его северных сопок.

Правда, говорят, небольшая наиболее консервативная часть местной публики решила, что Советский Союз так именно готовит почву для захвата этих теплых островов. Но таких было мало. Основная масса зрителей воспринимала его стихи как победу либерального направления в Кремле. А теплые острова – почти прозрачный символ потепления международных отношений.

Московскому начальству шумный успех нашего поэта тоже пришелся по душе.

Пусть знают, думали они, и нам Европа не чужда, и мы не лаптем щи хлебаем.

Наш поэт настолько им понравился, что они взяли его с собой на торжественный ужин, устроенный в доме видного эстонского поэта. Все остальные поэты ужинали и пили в гостинице за собственный счет.

Видный эстонский поэт, он жил недалеко от театра, ведя гостей к себе домой, позволил смелую шутку, над которой хохотали даже московские начальники, правда соразмеряя свой хохот с хохотом главного начальника.

Показав рукой на мусор, валявшийся на тротуаре, кстати, по российским меркам, вполне умеренно, этот эстонский поэт сказал:

– Эстонцы дураки. Они ждут, когда кончится советская власть, чтобы потом убрать мусор на улицах.

Шутка, конечно, прозвучала двусмысленно, но интонация была такова, что советская власть никогда не кончится. И потому начальство хохотало.

Но вот мы сегодня свидетели того, что советская власть в самом деле кончилась. Так что эстонцы в своих терпеливых ожиданиях оказались не такими уж дураками. Правда, надо сказать, что и мусора с тех пор скопилось порядочно.

Все было бы прекрасно, если бы не особенность местного национального обычая, о котором не знало не только начальство, но и наш весьма эрудированный поэт.

Оказывается, в лучших домах Таллина принято сначала ужинать в столовой, разумеется с напитками, а потом переходить в другую комнату, где гостей уже строго испытывают на чистом алкоголе, без всяких закусок. Такая эстонская рулетка.

Но об этом из наших никто не знал. Никто не знал, что надо пить за первым столом, учитывая для равновесия предстоящий стол. Но о нем заранее никто ничего не сообщил. Поэтому наши начальники выложились за первым столом. Они действовали, как штангист, у которого единственный подход к снаряду.

Так вот, когда гостей перевели в другую комнату и усадили за второй стол, они были так пьяны, что чувствовали себя совершенно трезвыми. И они продолжали крепко пить. Тем более, что кто-то из них высказал остроумную догадку: согласно причудливым местным обычаям, предстоит еще один стол – в третьей комнате, где будут подавать уже одни закуски, а напитков не будет.

Так что старались пить и в счет третьего застолья.

– Сколько же у него комнат, если на каждое застолье выделяется по комнате! – удивлялись московские гости.

Алкоголь, как известно, ускоряет движение времени. И наши начальники дружески, перебивая друг друга, стали ласково рассказывать о том, что Сталина в ближайшее время реабилитируют. Им, видимо, казалось, что эстонцы сильно соскучились по Сталину, и они в благодарность за гостеприимство решили их взбодрить. Однако хозяева и другие прибалтийские гости смущенно молчали. Но не промолчал наш аполитичный поэт.

– Значит, осуждение Сталина на Двадцатом съезде было аферой Хрущева? – громко, как всегда, спросил он с раздражающим оттенком глобального академизма.

– Нет, аферы не было, – отвечал главный начальник, глядя на нашего поэта и взглядом охотно соглашаясь с ним, что лично Хрущев, конечно, аферист, но об этом нельзя говорить при эстонцах, так как они еще не обладают достаточной политической гибкостью. Но наш поэт ничего в этом многозначительном взгляде не уловил. Он только уловил его слова.

– Выходит, реабилитация Сталина – афера? – спросил он в согласии с логикой, но в полном противоречии с диалектикой. Теперь он спросил с еще более раздражающим оттенком еще более глобального академизма.

И что тут началось! Начальники взвились!

– Мальчишка! Дурак! Астраханский эстет! Кулацкое отродье!

– Что ты можешь знать о великих заслугах товарища Сталина, киприот недоделанный! – в отчаянье выкрикнул один из начальников, забыв, что астраханский эстет никак не совмещается с киприотом, даже недоделанным.

Скандал! Скандал! Скандал! Выражая неподдельную ярость, начальники кричали на него, одновременно не забывая поглядывать друг на друга, чтобы обнаружить в ком-нибудь слабость выражения этой ярости. Поэтому никакой слабости никто не проявлял.

Эстонцы и остальные прибалты молча слушали, как бы изучая особенность славянского спора между собой, которая, оказывается, заключается в том, что все бьют одного.

Потом начальники повскакали с мест и стали дружно одеваться, гневно вбрасывая руки в рукава плащей, как шашки в ножны после кавалерийской атаки.

Они уходили, демонстративно отмахнувшись от третьего застолья, которое, впрочем, сами же и выдумали. Все заспешили в гостиницу, и бедный наш поэт, понурившись, последовал за ними.

Самый маленький начальник, занимавший тот же номер, что и наш поэт, неожиданно наотрез отказался от своего места, ссылаясь на то, что больше не может дышать с нашим поэтом одним воздухом, отравленным его дыханьем. Однако по случаю заполненности гостиницы и, вероятно, невозможности достать противогаз в столь поздний час ему предложили рискнуть и занять свою кровать. Ночью, временами вскакивая на постели и что-то быстро лопоча, он, не просыпаясь, во сне продолжал искренне симулировать возмущение. В те времена искренне симулировать возмущение могли многие, но чтобы во сне искренне симулировать возмущение – и тогда было величайшей редкостью. Пусть психологи будущего изучают этот феномен.

После этого скандала книга нашего поэта на несколько лет потеряла даже отдаленный шанс быть изданной. Отсутствие более жестких санкций было вызвано тем, что Сталина и в самом деле не реабилитировали. Говорят, об этом взмолилось руководство европейских компартий.

– Я остановил реабилитацию Сталина! – позже грохотал наш поэт. По его словам, этот скандал проник в западную печать и Кремль вынужден был дать слово, что реабилитации не будет, потому что наиболее талантливая часть России против. Ну что ты ему скажешь!

…Однако мне поднадоело комментировать его жизнь. Я передаю ему слово.

Думаю, он это сделает лучше.

Озимая кукуруза

В юности, знаешь, меня по знакомству устроили работать в центральную молодежную газету. Скажем так, чтобы никого не обижать. Полгода я жил припеваючи и пропиваючи свой гонорар. Я писал рецензии на книги, в основном иностранных авторов, отвечал на письма читателей. Я работал в отделе культуры.

Единственная трудность, которую я не сразу одолел, – это эпистолярное, а главное, личное общение с графоманами. Самое упорное и злобное племя людей.

Стоило мне в письме такому человеку дать легкие указания на тяжелые недостатки его стихов или рассказов и пожелать ему в дальнейшем творческих удач, как он разражался целым трактатом критики на мою критику и посылал этот трактат на имя главного редактора. Тот, разумеется не читая трактата, но стремясь к спокойной жизни, становился на его сторону и учил меня быть поласковей с молодыми авторами.

Еще упорней они бывали в личном общении, переходя от сентиментального предложения устроить загородный пикничок с шашлыком к прямым угрозам пожаловаться в ЦК комсомола или даже партии. Кошмар.

Один из них купил меня на эти шашлыки, за что я потом сполна расплатился. Он писал рассказы, и я чувствовал в них некоторое мерцание таланта и возился с ними, пытаясь довести их до печатного уровня. Но пока не удавалось. Кстати, при этом он был удивительно одарен в практической области, зарабатывал достаточно много денег и уже тогда имел свою машину.

Согласие мое на шашлычный пленэр объяснялось еще тем, что мы оба жили в одном и том же подмосковном районе. Было удобно встретиться.

– Приведи с собой кого-нибудь из редакции, – щедро предложил он, – будет веселее.

Я предложил заведующему отделом приехать ко мне на шашлычный пикник, устроенный одним начинающим автором.

– Что ты, что ты! – всплеснул тот руками. – Я не поеду! Потом от него не отделаешься, прилипнет. И тебе не советую прикасаться к этому шашлыку!

Но я прикоснулся. До сих пор удивляюсь мудрости и прозорливости этого человека, а ведь он не намного был старше меня.

В назначенный день этот автор приехал на своей машине, с шашлыками, водкой и певцом, исполнявшим собственные песни. Мы развели костер и поджарили шашлыки. Потом пили водку, закусывая дымным мясом, и слушали певца. Певец оказался не только талантливым, но и высококультурным человеком, и я про себя удивился, что его свело с моим автором, которому сильно не хватало этой самой культуры, и он ее, кряхтя, заменял упорством. Неужели только возможность выпить? Одним словом, мы хорошо посидели.

После этого рассказы моего автора довольно густо посыпались на меня, и каждый раз мне казалось, что в них что-то есть, и я рылся в них в поисках неведомого призрака таланта, но никак не мог довести их до печатного уровня.

Потом он перестал приходить, но, оказывается, затаил на меня обиду. Он, видимо, никак не мог понять, что, даже если бы я по доброжелательности пропустил его рассказ, другие работники редакции его непременно остановили бы. И я, чтобы не морочить ему голову, сам возвращал ему его творения, тем самым обращая его дальнобойную злобу на самого себя. Но этого я тогда не понимал.

Прошли годы и годы! Наступило новое время, вакханалия свободы, но при этом надо сказать, что мои книги стали печатать в России и за границей. Я стал известным поэтом не только в узких кругах, как было раньше.

И вдруг этот автор, про которого я давно забыл, уже красиво поседевший, уже на новенькой машине, приезжает ко мне и дарит мне свою первую книгу. При этом усиленно зазывает меня выпить с ним хорошего грузинского вина, которое у него в багажнике, или, в крайнем случае, взять в подарок несколько бутылок.

Мистика! Какая-то божественная сила меня удержала! То ли смутное воспоминание, что мы перед расставанием несколько поссорились, то ли его какая-то новая, вкрадчивая манера разговаривать. Я даже нагло солгал ему. Я сказал, что бросил пить, и он, не вынимая своего вина, скромно уселся в свою дорогую машину и уехал. Из дальнейшего рассказа у тебя может возникнуть мысль, а не хотел ли он отравить меня своим вином. Я уже об этом думал.

Отвечаю: нет! Первое его предложение было сразу – вместе выпить. В таком случае я, будучи отравленным, не успел бы прочесть его рассказы. А с этим он смириться никак не мог. Более того, если бы он просто оставил мне вино, у него не могло быть никаких гарантий, что я после его ухода примусь за его рассказы, а не за его вино.

Как же он теперь пишет, подумал я и, чтобы сразу выйти на самое зрелое произведение, начал читать книгу с последнего рассказа.

Боже, Боже! Это был рассказ о нашем шашлычном пикнике, где с патриархальностью летописца он всех, и меня в первую очередь, назвал собственными именами. Больше от летописца в рассказе не было ничего.

Меня в этом рассказе он вывел величайшим глупцом и коварнейшим хитрецом. Я выгляжу в нем редакционным павлином, ни на секунду не забывающим, что я работаю не где-нибудь, а в центральной газете. При этом он приплел бессмысленную ложь, что я якобы хвастался, будто вырос на коленях известного поэта и на этих же коленях написал первые свои детские стихи. Вершина юмора!

Я этого поэта не только не знал, но даже никогда не видел. Он уже давно умер. Не обращаться же к родственникам его со странной просьбой подтвердить, что я у покойника никогда не сидел на его выносливых коленях, учитывая, что и ребенком я был достаточно крупным.

Но еще сильней меня раздражило, что он присвоил мне кавказскую привычку во время застолья хлопать ладонью в ладонь человека, сказавшего особенно острое словцо. Я терпеть не могу эту привычку, но получалось, что я же беспрерывно с размаху хлопаю кого-то в ладонь, и, конечно, в основном в его ладонь. По его словам, я прямо-таки отбил ему ладонь дня на два и он за это время не мог взять в руки пера. Намек на незримый траур читающего человечества.

Сколько якобы скрытых комплиментов себе в одной фразе. С одной стороны, беспрерывный поток остроумия (хлоп! хлоп! хлоп!), а с другой стороны, затворническая жизнь истинного художника: ни дня без строчки. Ни дня – кроме этих двух дней.

Ну конечно, кое-что перепадало и ладони певца после особенно задушевной песни.

Дальше началось полное безумие, возможно чуть-чуть основанное на факте.

Когда он разжег костер для шашлыка, он несколько торжественно, чего я тогда не заметил, вручил мне кусок фанеры, чтобы я им раздувал пламя, а сам стал собирать поблизости всякие сухие сучья и ветки. И возможно, не видя возле костра никакого топлива, чтобы поддержать огонь, я сунул туда этот несчастный кусок фанеры. Возможно. Не отрицаю.

В этом месте рассказа он обрушил на меня рыдающую провокацию. Оказывается, эта фанера, будь она неладна, была крышкой от посылки, присланной его любимой мамой – да что значит присланной! присылаемой ему в течение уже десяти лет из далекой провинции! Оказывается, она уже в течение десяти лет присылает ему сухофрукты в одном и том же ящике с одной и той же крышкой, потому что в ответ он дорогой мамочке в провинцию шлет консервы не только в том же ящике, но с той же крышкой, только перевернув ее и написав мамин адрес. Оказывается, эта крышка от посылки, как знак близости с любимой мамой, была ему дороже всего на свете, даже дороже машины! Спрашивается, если уж эта крышка от посылочного ящика так тебе дорога, зачем ты ее притащил для вздувания шашлычного костра? Лучше бы уж из дому веник принес, было бы куда размашистей раздувать костер! Но слушай дальше, ты умрешь!

Оказывается, я не случайно сунул эту крышку в огонь, отнюдь не случайно!

Оказывается, я принял эту крышку от посылки за одну из крышек от посылок, которые регулярно получаю из-за границы, и не на московскую квартиру, где живет моя мама, а на этот районный адрес, где КГБ далеко не так тщательно, как в Москве, проверяет посылки. Оказывается, я, увидев на крышке написанный крупным почерком индекс хорошо знакомого почтового отделения, дальше не стал читать, приняв куриный почерк его мамы за почерк иностранца. Он так сурово и пишет – «куриный почерк мамы», что совершенно не вяжется с нежными признаниями в любви к ней. Тут сразу возникает несколько безответных вопросов. Почему он уверен, что я помахивал крышкой над костром именно той стороной к себе, где господствовал куриный почерк мамы, а не той, где царствовал его петушиный? Почему он уверен, что у таинственного иностранца, неустанно снабжавшего меня посылками, был такой же или почти такой же куриный почерк, как у его мамы, что я их мог спутать? Были еще вопросы. Забыл. С ума сойти! Я никогда в жизни не получал из-за границы посылок! Вообще ниоткуда не получал посылок! В получении посылок из-за границы даже в те далекие времена не было прямого криминала. Но из контекста следовало: легко мне быть поэтом, далеким от политики, когда заграница так нежно заботится обо мне. Но с другой стороны – противоречие. Откуда такой панический страх: немедленно сжечь крышку! Что, в посылке лежали антисоветские книги или наркотики?! Но, допустим, если я после долгих поисков нашел такое странное почтовое отделение, которое КГБ по рассеянности (ха! ха!) не проверяет, как же я сам эту крышку вынес? И зачем вообще я ее хранил? Не посылал же я своему иностранцу с куриным почерком консервы из Москвы, перевернув ту же крышку, как мой автор? Но, допустим, я пришел в неимоверный восторг от предстоящего шашлыка и забыл про всякую опасность. Откуда я взял, что сейчас в России принято раздувать шашлычный огонь исключительно крышками от посылок? Тысячи вопросов! Ведь крышкой от посылки я раздувал костер еще далеко до всякой выпивки и, если обратил внимание на почтовый индекс, столь устрашивший меня, мог бы прочесть и дальше, несмотря на куриный почерк его мамы. Хотя бы подобие психологической правды! Хотя бы указал, что я все это проделал, когда уже надрался водки. Так нет! Кстати, почему он этот рассказ поместил в конце книги? Я думаю, он решил, что я, читая его искрометные рассказы, окончательно расслаблюсь – и тут он вонзит в меня свой кинжал! Я посмотрел выходные данные книги. Весьма странно. Название какого-то издательства, каких сейчас тысячи, и я, разумеется, о нем ничего не слышал. Но там забавные редакционные приписки. Во-первых, книга издана на средства автора, во-вторых (слава Богу!), всего пятьсот экземпляров, а в-третьих, и это самое главное, неслыханное для издания художественных произведений предупреждение: продажа книги запрещена! Зачем же вы издаете, если запрещаете продажу книги? При этом на обложке исполненный бодрой доброжелательности уговор читателей присылать отзывы о книге по адресу автора. Каких читателей, если книга запрещена для продажи? Очевидно, выкупив издание, автор сам будет рассылать книги избранным читателям. Мне он уже вручил, и, если мое признание с твоей помощью когда-нибудь попадет в печать, это и будет читательский отзыв на ласковые уговоры. Прочитав рассказ, я сначала пришел в бешенство и хотел подать в суд на издательство и автора за клевету. Ведь, скажем, если я получал из-за границы посылки, на почте должны оставаться какие-то данные об этих посылках. Но потом махнул рукой: черт с ним! Ему любой ценой нужна любая слава, так что суд ему даже выгоден. По этой же причине я не называю его имя – и это ему было бы выгодно. Любой скандал! В сущности, КГБ должен был подать на него в суд за клевету. Якобы они, сосредоточив свое внимание на посылках, поступающих в Москву, сквозь пальцы смотрели на те, которые приходили в районные почтовые отделения. Но как это все могло случиться? Деньги, деньги, деньги сейчас играют роль всесильной идеологии. Но я отвлекся и отвел душу. Пусть и тебе это послужит уроком. Я знаю, что ты слишком много уделяешь внимания так называемым подающим надежды. Они и тебе рано или поздно отомстят, если уже не отомстили. Молодой автор должен подавать талантливые рукописи, а не надежды. Возвращаюсь к своей газетной молодости. Наконец, когда графоманы меня совершенно загнали в угол, нужда заставила найти выход. «Ваши стихи или рассказы гениальны, но их поймут только в следующем веке», – говорил я или писал в ответ на присланные рукописи. И каждый графоман, как бы воркуя, после этого замолкал. И только один, и то весьма вежливо, сделал еще одну попытку напечататься. «А нельзя ли все-таки попробовать в этом веке?» – деликатно спросил он у меня в ответном письме. «К сожалению, нельзя, – отвечал я ему, – для этого века они слишком гениальны». И он навсегда замолк, по крайней мере в этом веке. Но вот однажды меня вызвал к себе редактор и говорит: – Наши собкоры о комсомольской работе на местах пишут очень скучно. А у вас хорошее, легкое перо. Поезжайте в Вологодскую область. Мы вам выбрали большое, зажиточное село. Напишите, как там проходит комсомольская жизнь. Заодно можете прихватить и хозяйственную. Особенно обратите внимание на кукурузу, она теперь царица полей! Это сейчас революция в сельском хозяйстве! Покажите всем этим нашим замшелым собкорам, как крылато можно писать о комсомольской жизни, когда за это берется настоящий поэт! Я был юн и польщен оценкой редактора моей поэтической работы, хотя именно он, кстати говоря, ни разу не опубликовал мои стихи. – Пока не так поймут, – говорил он, возвращая мои стихи, чем натолкнул уже меня на формулу о следующем веке. Нет, до следующего века он меня не отсылал, это я сам придумал. И вот я впервые приезжаю в это действительно большое село и действительно по тем временам достаточно зажиточное. В каждом доме водопровод и электричество. Я поднялся в правление к председателю колхоза. Он выслушал меня, не переставая покрикивать на бригадиров, собравшихся там, а потом сказал: – Зайдите в библиотеку. Библиотекарша – секретарь нашей комсомольской организации. А потом приходите ко мне. Я вас повезу по полям. Я зашел в библиотеку, которая находилась при клубе. Библиотекарша оказалась молодой, худенькой, некрасивой и как бы вследствие всех этих причин навсегда притихшей девушкой. На все мои наводящие, бодрые вопросы о комсомольской работе она отвечала грустным отрицанием. Никакого молодежного кружка по изучению марксизма, никакой оживленной дискуссии по поводу приближающегося коммунизма, обещанного Хрущевым, никакой театральной самодеятельности, никакой хореографии, никаких литературных вечеров, ничего. Кругом книги. Сидим одни в тихой библиотеке, и я как бы все время домогаюсь комсомольской работы, а она как бы на мои домогания, скромно опуская глаза, тихо отвечает: – Нет. Кругом книги, тишина, мы с молодой девушкой одни в библиотеке, и я все время слышу, как она, скромно потупившись, говорит: – Нет. При этом ни малейшего желания солгать или как-то оправдаться. Такая беззащитная искренность порождала желание пожалеть ее. А тут книги, тишина и мы вдвоем. Она была так некрасива, что возбуждала желание лечь с ней и сделать ее красивой! Но это, конечно, было невозможно! Парадоксальный секс! Я его открыл. – Так что же бывает у вас в клубе? – спросил я, уже в полной безнадежности продолжая домогаться. – Кино и танцы, – прошептала она, вздохнув, как бы наконец ответив на мои домогания в очень неудобной позе. – А к вам в библиотеку ходят комсомольцы? – сделал я еще одну несколько извращенную попытку. – Очень редко, – прошептала она после долгого молчания, видимо припоминая читателей. – В основном книги берут местный агроном и учителя. Боже, какая печальная девушка и как мне хотелось приобнять ее и приласкать! А ведь мне предстояло по поводу слышанного написать гневную статью, в основном направленную против нее. Я удрученно поплелся к председателю колхоза. Как я потом узнал, у него было прозвище Чапай. Он нервно набрасывался на всех, хотя, в сущности, был незлым человеком. Посадив в свою машину, он с гордостью провез меня возле цветущих пшеничных полей. А потом мы подъехали к огромному, уходящему за горизонт кукурузному полю, где кукуруза, несмотря на середину августа, возвышалась над землей на двадцать, в рекордных случаях на тридцать сантиметров. Ждать от нее початков было бы все равно, что ждать ребенка от трехлетней девочки. А у нас под Астраханью, еще до всякой кукурузной кампании, я видел могучие заросли ее, с лихими метелками и иногда с несколькими початками на стебле. – Нам приказали засеять под кукурузу лучшие земли! – кричал председатель бесстрашно, как Чапаев, нападая на Хрущева. – А я не знаю, стоит ли здесь косить или дешевле пустить скот, пока снег не выпал! Потом он мне показал коровник, птицеферму и другие колхозные заведения. Кстати, когда мы подъехали к птицеферме, десяток женщин, лузгавших семечки у ее входа, вбежали в помещение, весело крича: – Бабоньки, Чапай приехал! После этого мы зашли в какую-то столовку, где обед плавно перешел в ужин. Председатель, ругая Хрущева, беспрерывно жаловался на кукурузу, которая не дает и не даст разбогатеть хозяйству. Я был польщен его доверчивой руганью при мне в адрес высшего начальства, но позже убедился, что люди чем дальше от центра, тем откровенней. Потом он повез меня ночевать. Мы вышли из машины возле какой-то скромной избы. Я с хищным восхищением решил отметить в будущей статье простоту председательского жилья. Но он стал стучать в дверь, и ее вдруг открыла та самая библиотекарша. – Наташа, принимай гостя ночевать! – крикнул он и как бы для облегчения ее участи добавил: – Он уже со мной поужинал! Он попрощался, и мы с ней вошли в чистую, пустую избу с русской печкой, на которой, оказывается, кто-то спал, но я этого не приметил. Сидя за столом, мы еще с ней немного поговорили, и к скудной информации о ее жизни прибавилось, что она заочно учится в каком-то институте. Изучает немецкий язык. Мне стало ее совсем жалко. Зачем немецкий язык посреди Вологодской области? Наконец, не переставая грустить, она постелила мне постель, постелила себе постель, разумеется в той же избе, а где ж еще, погасила свет, и мы легли. Мне ее было безумно жаль, тем более что мне неотвратимо предстояло писать о развале комсомольской работы в этом селе. И в этом развале главной виновницей должна была стать эта хрупкая, некрасивая, беззащитная девушка. Я много раз мысленно пытался, отталкиваясь от реального водопровода и реального электричества, нарисовать пристойную картину комсомольской жизни. Но понимал, что не могу. Не за что было зацепиться. Думая обо всем этом, я тяжело вздохнул. Она, видимо, услышала мой тяжелый вздох и по-своему его поняла. Она вдруг тихо встала, подошла к моей кровати и, как обиженный ребенок, которого до этого изгнали из игры, а сейчас он сам в нее вступает (дважды обиженный!), грустно попросила: – Подвиньтесь! Я подвинулся, и она легла рядом со мной. Я обнял ее бедное тело. Было жалко, стало жарко… В темноте я был уверен, что она похорошела. Мы разговорились в постели, и теперь ее голос был добрый и нежный. Никакой грусти. Мы договорились до того, что она после окончания института приедет ко мне. Я был в восторге и забыл свойство собственного голоса. И она настолько забылась, что не предупредила меня. Оказывается, это ее бабушка лежала на печке. И вдруг оттуда донеслось всхлипывание, переходящее в громкий плач. Я оцепенел от стыда и ужаса. – Моя внучка блядь, моя внучка блядь! – доносилось сквозь рыданье старушки. – Ну ладно, хватит, хватит, бабушка! – крикнула Наташа и ушла к себе в постель. Старушка постепенно замолкла. Я лежал ни жив ни мертв! Как я утром встречусь с ней глазами! Уйти сейчас – но идет дождь, и куда? Не буду спать, подумал я, а на рассвете, пока они спят, уйду. Приняв твердое решение не спать до рассвета, именно из-за этого твердого решения я тут же уснул. Но на рассвете в самом деле проснулся. Я тихо встал, оделся и вдруг увидел на столе кружку молока и горбушку хлеба. А вечером на столе ничего не было. Значит, Наташа поднялась раньше меня и, поняв, что я не могу увидеться с ее бабушкой, оставила мне завтрак. Милая, чуткая девушка, кто бы кроме тебя догадался обо всем этом и позаботился обо мне! Я решил, что есть хлеб в этом доме и запивать его молоком после всего, что случилось, было бы слишком нахально. Но одно из двух – можно! Я одним махом выпил кружку молока и, взяв с собой хлеб, съел его на улице. Не буду говорить о том, как я добирался до Москвы. Теперь после того, что случилось ночью, я тем более не мог написать горькую правду о комсомольской работе на селе. Но и дохлая полуправда меня не устраивала. Я понял, что меня спасет только вдохновенная фантазия. И я написал! Я написал, что в этом селе, сияющем от электричества, как Москва, хоть по ночам иголки ищи по улицам (непонятно, кто и зачем их разбрасывал), жизнь прекрасна и удивительна. Повсюду, вплоть до автопоилок на фермах, щедро льется водопроводная вода. Местные комсомолки из литературного кружка неожиданно спросили у вашего корреспондента, как понимать строчки Пушкина:

Спой мне песню, как девица

За водой поутру шла.

Они с хохотом поинтересовались:

– Как это так? Впереди идет вода, а за нею девушка?

Возможно, это была шутка. Но даже если это была шутка – то характерная.

Каково же было мое изумление, когда я, слегка углубившись в этот вопрос, узнал, что никто из них не понимает значения слова «коромысло», они дружно назвали его иностранным словом. И тут уже было не до шуток. Правильный ответ дал только один старик. Прости, бабушка, наворачивалось у меня на язык, может быть, и ты дала бы правильный ответ, но я этого не написал.

Вина перед бабушкой не давала мне покоя и постоянно просилась в текст, куда я ее не впускал, и оттого утолить это чувство никак не мог.

Колхозные поля цветут, писал я. А бесконечная кукурузная плантация – это настоящие джунгли, готовые с головой укрыть всадника, если, конечно, ему удастся вогнать туда коня, что сомнительно. Прости, бабуля!

Я написал, что каждый кукурузный стебель держит на своей груди пять, шесть, семь початков. Я написал, что некоторые кукурузные стебли не выдерживают этой тяжести плодов и иногда опасно накреняются, но им не дают упасть мощные братские стволы рядом растущей кукурузы.

Эти кукурузные джунгли стали причиной, слава Богу временного, несчастья на селе. Оказывается, двенадцатилетний мальчик заблудился в них и не нашел дороги домой. И только на пятый день его отыскали работники районной милиции с собакой-ищейкой. Перед походом в кукурузные джунгли собаке дали понюхать его личную любимую книгу «Как закалялась сталь» Островского. И собака взяла след и нашла мальчика в этих джунглях. Она нашла мальчика, мирно спавшего у подножия особенно рослого стебля кукурузы. Мальчик безмятежно спал, обняв недоеденный початок кукурузы, так он был велик. Оказывается, все эти четыре дня мальчик питался кукурузой молочно-восковой спелости, и у него даже не испортился желудок.

Как выяснилось впоследствии, мальчик, срывая эти початки, вскарабкивался на мощный стебель кукурузы. Даже если бы он захотел, он был не в силах согнуть стебель кукурузы, чтобы дотянуться до початка.

Впрочем, и в своем бедственном положении мальчик не мог допустить такого варварства, чтобы валить царицу полей на землю. И дело не в его несовершеннолетии, тут я тонко пошутил, а в исключительно уважительном отношении к царице полей. Но редактор выкинул эту шутку, ссылаясь на то, что некоторые могут понять ее как скрытую симпатию (непонятно – мальчика или автора?) к монархии.

Мальчика нашли, но это не обошлось без забавного курьеза. Оказывается, собака осторожно, чтобы не разбудить мальчика, взяла зубами из его рук недоеденный початок и с большим аппетитом доела его и даже разгрызла кочерыжку, как сладкую кость. (Я знал, что голодные собаки едят кукурузу. Правда, у нас на юге.) После этого она, поглядывая вверх на могучие початки и тихо подвывая, чтобы не разбудить мальчика, просила милиционеров сорвать ей еще один початок. Милиционеры, легко поняв желание собаки, угостили ее еще одним початком. И она его с таким же аппетитом слопала и с наслаждением разгрызла кочерыжку. После чего, наевшись до отвала, она брякнулась рядом с мальчиком, думая, что ее здесь оставляют сторожить все еще безмятежно спящего мальчика, и, видимо, довольная этим. Но милиционеры, посмеявшись ее наивной хитрости попытаться остаться вблизи кукурузы, подняли ее вместе с мальчиком. Надо же было искать дорогу обратно! Прости, бабуля, но я ж, в конце концов, был не первый! Но мало всего этого! Местный агроном вывел новый сорт озимой кукурузы, и часть полей засеяна ею. Озимая кукуруза колышется себе под ветерком и для озимого сорта выглядит достаточно крупной. Любимого председателя колхоза за смелый, атакующий стиль руководства народ здесь называет Чапаем, по имени знаменитого героя Гражданской войны! Культурную жизнь села неизменно возглавляет секретарь местной комсомольской организации Наташа Богданова. Ее чуткость у всех на устах! Несмотря на невероятную занятость в селе, она успевает заочно учиться в Институте иностранных языков! Ваш корреспондент, услышав немецкую речь в селе, на миг подумал, что внезапно попал в Германию. Но оказалось, что чудес не бывает! Наташа, сама заочно изучая немецкий язык в институте, организовала в селе кружок по изучению немецкого языка, и уже около десяти комсомольцев довольно сносно говорят по-немецки. Под ее руководством создан хор, великолепно исполняющий русские народные песни. А также танцевальный кружок, преимущественно исполняющий испанские танцы, что отнюдь не означает примирительного отношения к генералу Франко! Прости, прости, бабуля, если можешь! Более того! В селе есть комсомольский кружок по изучению философии. На наших глазах в клубе проводилась пылкая дискуссия между сторонниками «Анти-Дюринга» Энгельса и «Нищеты философии» Маркса. Но эта дискуссия не означала, что спорящие друг друга отрицают, они плодотворно дополняли друг друга. Наташа Богданова, кроме всего, еще и библиотекарь села. Когда открывается библиотека, всегда выстраивается очередь комсомольцев, обменивающих книги. Комсомольцы, чтобы не терять время, в самой очереди устраивают летучие дискуссии по поводу прочитанных книг. При всем при том нам надо сказать правду, ибо правда превыше всего! И мы должны признаться, что все-таки на селе больше всего читают агроном, создавший неслыханный в мире сорт озимой кукурузы, и местные учителя. Комсомольцам и здесь есть на кого равняться! Когда ваш корреспондент уезжал из села, его славный председатель по кличке Чапай просил меня, когда я буду в Москве, лично от его имени поблагодарить Хрущева за кукурузу. О, святая чапаевская наивность! Он думает, что обыкновенному сотруднику газеты легко встретиться с товарищем Хрущевым. Но заочно через газету мы эту благодарность передаем. О, прости-прощай, бабушка, я уже не все помню, о чем я там еще написал! Редактор взял перепечатанную на машинке статью в свой кабинет и через час вызвал меня к себе. По-моему, великолепие статьи его слегка пришибло. По-моему, он испугался, что Хрущев может посадить меня на его место. Такие были причудливые времена. Но забраковать статью было еще опасней. – Там комсомольцы в самом деле читают «Анти-Дюринг» Энгельса? Ты не путаешь? – спросил он у меня с заискивающей осторожностью. В том, что комсомольцы этого села читают «Нищету философии» Маркса, он почему-то не усомнился. – Может, спутал с «Диалектикой природы» Энгельса, – небрежно ответил я, – но это маловероятно. – Потрясающее открытие сделал местный агроном! – добавил он, радостно переходя к безукоризненным фактам. – Это же надо додуматься! Озимая кукуруза! Строго между нами говоря, в некоторых районах кукуруза плохо растет. И нам в печати приходится скрывать это, чтобы у крестьян руки не опускались. Может быть, будущее за озимой кукурузой! Меня тоже интуиция не подвела, когда я тебя послал именно в это село. Статью – в набор! Быть ей на Доске почета, а ты получишь гонорар по высшей ставке! Так и случилось. Дней десять меня со всех сторон поздравляли. Я сделал великое открытие: коммунизм победил в отдельно взятом селе! Даже кличка председателя колхоза как бы подтверждала это. Лихая чапаевская атака – и коммунизм взят! Возможно, кое-кто и сомневался в этой победе, но вслух сказать об этом было страшновато. Но вдруг редактору позвонили из ЦК комсомола. Ему сказали, что в это село на днях направляется немецкая делегация из ГДР для изучения опыта молодежной работы. У них статья перепечатана. – Мы уже туда посылали своего инструктора, – сказали из ЦК, – все вранье, кроме электричества, водопровода и Наташи Богдановой, чья бабка не слезает с печки. Но сотрудника нельзя наказывать. Статья – прекрасный вдохновляющий пример для сельских комсомольцев. Раз это написано, значит, это достижимо! А с немецкой делегацией мы управимся. Срочно посылаем из Института иностранных языков десять комсомольцев, говорящих по-немецки, во главе с бойкой, красивой аспиранткой, которая на время пребывания немцев в селе будет выступать в роли местного комсомольского вожака. Наталья Богданова не годится – чересчур невзрачная. Аспирантка будет жить у нее дома, а Наташа будет ее дальней родственницей, приехавшей погостить. Посылаем десять студентов философского факультета. Посылаем профессионалов, исполняющих народные песни, и танцоров с испанским уклоном. …Все прошло почти блестяще! Были только две небольшие заминки, которые тут же утряслись. Бойкая, красивая аспирантка, оказывается, так хорошо говорила по-немецки, с таким берлинским прононсом, что немцы завопили: – Панама! Панама! Они заподозрили, что эта псевдостудентка на самом деле немка, тайно выписанная из Берлина. Но при помощи немецкой же переводчицы удалось доказать, что она для немки слишком хорошо говорит по-русски. Немцы почти успокоились, но потом попросили показать им кукурузные джунгли. Однако к этой просьбе наши были готовы. Немцам объяснили, что, увы, кукурузные джунгли уже скосили, но можно показать огромные поля под озимой кукурузой. Немцы осмотрели поля под озимой кукурузой и остались довольны, особенно рослостью озимой кукурузы. Им щедро пообещали зерна с будущего урожая, но они, посовещавшись между собой, сказали, что по климатическим условиям ГДР не нуждается в озимой кукурузе. Не хотите – не надо, наше дело – предложить! Вечером в переполненном местном клубе давали концерт московские артисты, которых немцы принимали за представителей местной самодеятельности. Сельчане с бешеным азартом аплодировали артистам. Молодежь, резвясь, забрасывала их бумажными самолетами. Немцы совсем растаяли: – Так встречают только своих! На следующий день они уехали, оставив Чапая с его гамлетовскими раздумьями: стоит ли косить эту лилипутскую кукурузу или уж лучше прямо пустить скот на поля? Все было хорошо. Но, оказывается, в личной беседе – кто бы мог подумать! – Вальтер Ульбрихт – или черт его знает, кто тогда был! – рассказал Хрущеву о моей статье и о немецкой делегации. Хрущев приказал одному из своих помощников достать и прочесть ему вслух эту статью. И она ему очень понравилась. Кроме всего, к этому времени он, видно, устал от придворных интриг. – Хочу затеряться, как этот мальчик, в кукурузных джунглях, – сказал он, – едем туда! Помощники всполошились. Они позвонили редактору. Бледнея, редактор заявил им, что кукурузные джунгли, согласно немецкому варианту, уже скошены, хотя их никогда не было. – Как – не было? – рассердились помощники. – Наш сотрудник кое-что напутал, – сказал редактор, – но была и есть озимая кукуруза. Помощники Хрущева, побаиваясь его великой безответной любви к кукурузе, не признались, что джунглей и мальчика не было, но сказали, что, в согласии с планами сельских работ, кукурузные джунгли уже выкосили, а озимую кукурузу можно посмотреть. – Послать туда делегацию во главе с Лысенко, – неожиданно приказал Хрущев, – пусть проверит кукурузу на озимость. Пока все это происходило, пока собрали делегацию во главе с Лысенко, Чапай разом разрешил несвойственные его кличке гамлетовские сомнения. Он пустил скот на кукурузные поля, и за две недели там не осталось и стебелька. Тут подъехала делегация во главе с Лысенко. – Где же ваша озимая кукуруза? – спросил Лысенко у Чапая. – Какая там еще озимая кукуруза?! – набросился на него Чапай. – Ты что, немец, что ли? – Нет, я не немец, – ответил Лысенко, – но где же ваша озимая кукуруза? – Да не было никакой озимой кукурузы! – рявкнул Чапай. – Мы ее сеяли в мае, а она, сволочь, в августе до колен не дотянула! Озимая кукуруза! Я думал, это для политики, для немцев нужно было так говорить! – У нас не было озимой кукурузы, – торжественно заявил Лысенко, – но у нас будет озимая кукуруза, потому что я ее создам! С этим делегация Лысенко и уехала. Когда Хрущев узнал, что и озимой кукурузы не было, он совсем рассвирепел. – Да что ж это у вас: куда ни кинься – ничего не было! – заорал он. – Ну хотя бы мальчик был, который в кукурузных джунглях заблудился?! – Был, – подтвердили окончательно оробевшие помощники, – мальчика можно найти. – Не надо его искать, – приказал Хрущев, – пусть в следующем году заблудится в кукурузных джунглях, а я поеду его искать. Может, вообще, к трепаной матери, уйду навсегда в кукурузные джунгли! А озимую кукурузу вам Лысенко создаст! Не знаю точно, то ли перепуганные помощники Хрущева предложили меня выгнать из редакции, то ли, когда все стихло, редактор это решил сам. – Знаешь что, Юра, – сказал он, вызвав меня к себе. – Иди-ка ты на вольные хлеба. А за идею озимой кукурузы – спасибо! И я ушел на вольные хлеба, и как там развивалась эта идея – не знаю. То ли Лысенко умер, то ли Хрущева сняли. – А с Наташей ты больше не встречался? – спросил я. – Нет, – сказал он грустно, – тогда второпях я забыл ей дать свой адрес, а написать в редакцию после всей этой бучи она, видно, постеснялась. Но плач бабули – моя рана на всю жизнь. Прости, бабуля, хотя бы с того света – прости! Спасенный спасет Иногда он о поэзии говорил оригинальные вещи. Так, однажды сказал, что все поэты делятся на прирожденных и переимчивых, как некоторые птицы. Прирожденный поэт отличается от переимчивого тем, что он все свои стихи, и хорошие, и слабые, создает из единого поэтического материала. Переимчивый поэт изобличается тем, что его хорошие стихи – продолжение музыки хороших стихов другого поэта, а слабые стихи созданы из совершенно другого материала. У переимчивого поэта ярких стихов может оказаться больше, чем у самобытного поэта, но это не меняет сути дела. Согласитесь, свежая мысль: единство материала у хороших и плохих стихов как признак самобытности, то есть разница в творческой силе, а не в органичности материала. Я никогда ничего такого не слыхал. Сам себя он, конечно, относил к самобытным поэтам. Он даже признавал, что у него есть слабые стихи, чтобы показать, что они из такого же органического материала, что и хорошие. – Есть поэты, – сказал он как-то, – мысль которых заключается в самой музыке стихов. Таковы Верлен, Блок, Есенин. Такие поэты могут писать стихи в пьяном виде. В пьяном виде им музыка стихов даже ярче слышится. Но такие поэты, как Пушкин, Тютчев, Ахматова или, допустим, я, – добавлял он без ложной скромности, – не могут писать в пьяном виде. Мы – смысловики, у нас музыка все-таки играет подчиненную роль. Было совершенно непонятно, жалеет он или гордится тем, что не может писать стихи в пьяном виде. Но с другой стороны, сколько горючего даром пропадает! А мог бы пить еще больше, оправдывая это потребностями стихотворной музыки! Он носил крест и считал себя христианским поэтом. Но навряд ли некоторые его стихи укладывались в рамки христианских заповедей. Так, у него были ураганные стихи под названием «Баллада о непрощенной обиде». Там каждая строфа кончалась рефреном: Прощенная обида и не была обидой, А коль была обидой, она не прощена! К счастью, наши державники не пронюхали, что такой образ мыслей имеет отношение скорее к Ветхому Завету. Молодежь с восторгом читала эти стихи. Он знал тысячи стихов наизусть. Однажды, когда я с друзьями сидел в ресторане, он неожиданно подсел к нам и прочел пять совершенно незнакомых нам тогда гениальных стихов Мандельштама. Между чтением стихов он выпил всю нашу водку. С нами сидела единственная женщина, которая пришла в восторг и от стихов Мандельштама, и от его манеры чтения. Прочитав стихи и выпив всю водку, он, по-видимому, решил, что теперь, кроме этой женщины, за столом не остается никаких ценностей, осторожно взял ее под руку, чтобы не расплескать ее восторг, и ушел вместе с ней, как раз в тот момент, когда в сторону нашего стола двигался метрдотель. А мы с любовью смотрели вслед нашему поэту. Скажите после этого, есть ли в мире другая страна, где так любят поэзию? Нет в мире такой страны! Про смысл своего творчества он повторял: – Энергия стиха и никаких идей! Энергия стиха вливает в читателя энергию жизни, а дальше пусть он двигается сам! Зайдешь ко мне, я тебе покажу неотвратимое доказательство своей правоты. Вскоре я зашел к нему. Тогда он жил на Тверском бульваре, в коммунальной квартире. Жил один. Последняя жена ушла, а новая еще не подоспела. Он показал мне письмо читателя. Этот еще явно молодой человек писал о том, что он со своими двумя самыми близкими друзьями решил заняться бизнесом. С разрешения отца он продал его машину и вложил все свои личные деньги в дело. Но друзья его обманули, и он остался ни с чем. Он был так потрясен вероломством друзей, что решил уйти из жизни. Накупил снотворных в разных аптеках с тем, чтобы на ночь выпить чудовищную дозу и покинуть этот жестокий мир, где никому нельзя доверять. На ночь перед тем, как выпить таблетки снотворного, он решил последний раз просмотреть «Литгазету». И тут наткнулся на стихи нашего поэта. Произошло чудо! Прочитав их и даже несколько раз перечитав, сам не зная почему, он пришел к выводу, что будет жить и не будет поддаваться панике. Он благодарил автора и просил редакцию передать ему свое письмо. Я прочитал письмо и повертел в руках конверт. Письмо было прислано откуда-то из Северного Казахстана. Не скрою, что я и на штамп обратил внимание. – Мистика! – громыхнул Юра, глядя на меня горящими глазами. – Я получил письмо, когда находился в невероятно тяжелой депрессии. Пытаясь вывести себя из нее, я перечитал свою любимую книгу – «Мастер и Маргарита» Булгакова. Но и она не помогла. Я перечитал ее ни разу не улыбнувшись. О самой смешной сцене с Котом на люстре я подумал: теоретически смешно, а так нет. Я был один. Жены разбежались. Изредка печатаю стихи, а книги в сорок семь лет нет и не предвидится. Вся жизнь псу под хвост. Может, я был не прав, может, писать надо было совсем по-другому? Поздно меняться, но не поздно полоснуть бритвой по венам! Спускаюсь к почтовому ящику – и вдруг это письмо, любезно пересланное мне из «Литгазеты». Я спас человека, а он спас меня! Спасенный спас! Я уже оправдал свою жизнь, я спас этого молодого человека, а он меня спас – и тоже оправдал свою жизнь! И самое главное – значит, я был прав, писать надо только так: энергия стиха и никаких идей! Я воспрянул к жизни! Обойдусь без книги! Я спас человека, теперь вся моя остальная жизнь – чистый доход! – Ты ему ответил? – спросил я. – А зачем ему отвечать? – загудел он. – Я спас ему жизнь, а он спас мне жизнь. Мы квиты! Ну что ты ему скажешь? Впрочем, я не исключаю, что он просто постеснялся пафоса случившегося: спаситель пишет письмо спасенному! Профиль – Я сейчас тебе расскажу самый потрясающий случай из моей жизни, – сказал он однажды, сидя со мной за столиком в ресторане. – Этот случай отразился на всей моей личной жизни. В молодости, как, впрочем, и сейчас, я легко знакомился с женщинами. Однажды взял билет на последний киносеанс. Шла иностранная картина. Захожу в кинозал, и меня вдруг охватывает необычайной силы волнение. Мне было двадцать три года! Я, как и все молодые люди, мечтал о единственной, неповторимой любви. И вдруг я чувствую не только всей душой, но и всем телом, что здесь, сейчас я встречу девушку, которая на всю жизнь будет мне незаменимой подругой! Не подумай, что я был пьян, я был совершенно трезв! Испытываю невероятное волнение и чувствую невероятную уверенность, что эта встреча именно сейчас с минуты на минуту состоится. Я, лихорадочно озираясь, прохожу между рядами, вглядываясь в лица девушек, ища ее, но ничего подходящего не замечаю. Все не то! Однако продолжаю волноваться и продолжаю быть уверенным, что такая встреча ждет меня здесь. Я усаживаюсь на свое место. А девушки все нет и нет. Что случилось? Где она? Кстати, замечаю, что рядом со мной два кресла пустуют. А зрители уже сидят на своих местах. Гасят свет. Начинается картина. Но где же моя девушка? Она должна быть! Уже минут пять идет картина, а ее все нет. И вдруг я в полутьме замечаю, что кто-то неуклюже пробирается к месту рядом со мной. Садится! Девушка! Я в полутьме разглядываю ее профиль. О, этот чуть вздернутый носик и чуть вздернутая верхняя губа! Сердце у меня останавливается. Я вижу нежнейший профилек нежнейшей девушки! Боже, Боже! Я ни жив ни мертв! Предчувствие сбылось! Вот оно, мое счастье на всю жизнь! Я делаю вид, что смотрю кино, но ничего не вижу и не слышу, только изредка украдкой кошусь на этот профиль. Время идет, но я почему-то не спешу с ней познакомиться. Уверен: все само собой получится, когда кончится картина. Ведь главное – предчувствие не обмануло и девушка сама явилась. Картина кончается. Зажигается свет. И ты представляешь! Я не только не знакомлюсь с ней, у меня даже не хватает духу посмотреть в ее сторону! Я как сомнамбула иду к выходу, помнится, не спеша, чтобы, если судьба опаздывает, дать ей нагнать нас. Я ухожу, но при этом до идиотизма уверен, что какая-то сила вот-вот нас сведет. То ли общий знакомый окликнет и представит меня ей, то ли она сама подойдет и попросит ввиду позднего часа проводить ее до дому. Абсолютно уверен, что мы не можем пройти мимо друг друга! Однако зрители разошлись. И я один стою перед опустевшим кинотеатром. А девушки нет, как не было. Я даже ее не видел при свете! Но я еще с час простоял возле кинотеатра, надеясь, что она почему-то вернется и мы познакомимся. Но, увы, чуда не случилось. Она исчезла навсегда, и я поплелся домой. Ночью я не спал, я проклинал себя за малодушие. Я полгода потом ходил в этот кинотеатр, и всегда на последний сеанс, с гаснущей надеждой встретить ее там. Если было возможно, я даже брал билет на прежнее свое место, но ничего не помогало. Потом я потерял и эту надежду, жизнь пошла своим чередом. Но стоило мне закрыть глаза, как я видел этот ангельский профиль. Я тысячу раз анализировал случившееся. Я ясно понимал, что судьба не только обеспечила мне встречу с этой девушкой, но и всем моим неслыханным волнением предупредила меня об этом. Но в таком случае, почему та же судьба не дала мне сил даже взглянуть в ее сторону, когда зажегся свет? Или она испытывала меня: действуй! Перешиби стыд и познакомься с ней, иначе ты навсегда упустишь свое счастье! Я хотел понять философию своей вины, но не мог. А жизнь продолжалась. Я, как ты знаешь, был много раз женат и неизвестно по чьей вине расходился. Иногда мне кажется, что тот ангельский профиль изгонял их. Моя поэтическая судьба была трагична, но я верил, что я истинный поэт, и это держало меня на плаву. Прошло с тех пор двадцать пять лет. Я тогда жил один. Поздно ночью возвращаюсь домой из одной компании. Конечно, подшофе. И вдруг вижу возле троллейбусной остановки молоденькую женщину, которая, прикрыв лицо платком, плачет. Внезапно она оторвала платок от глаз, и волосы на моем затылке зашевелились! У нее был тот самый ангельский профиль! Это она! Но как это может быть! С тех пор прошло двадцать пять лет, а тут юная женщина горько плачет. Я сошел с ума! Нет, я не сошел с ума! Это ее дочь! Судьба шепнула мне: «Вот тебе вторая попытка – с дочерью! А до внучки ты не доживешь!» Я подошел к ней и, боясь спугнуть ее своим голосом, прошептал: – Милая женщина, почему вы плачете? Может, я вам чем-нибудь могу помочь? И она доверилась мне. Она рассказала, утирая слезы, что вышла замуж за приличного человека из приличной семьи, но он оказался законченным алкоголиком, и она с этим ничего не может поделать. Вот и сегодня ночью ввалился в дом, избил ее за то, что в доме нет водки, и послал ее за выпивкой, сказав, что, если она придет без нее, он ее убьет. – А где я возьму водку, уже час ночи! – сказала она и снова горько расплакалась. – Идемте со мной, милая женщина, – обратился я к ней, – я поэт. Я вам дам бутылку водки, и вы пойдете к своему мужу. Но если он такой изверг, можете остаться у меня. Вас никто не тронет. Я буду целовать только тень вашего профиля! – При чем тут профиль! – вздохнула она и, подумав, добавила: – Но мне некуда деться… Мы сели в троллейбус и через полчаса были у дверей моей квартиры. Чудовищное волнение не покидало меня! Перед исполнением мечты всей жизни должно случиться что-то страшное! Сначала я испугался, что потерял ключ. Но ключ оказался на месте. Я вынул ключ и понял, что сейчас случится позорная катастрофа и я от волнения не смогу открыть дверь! И в самом деле! Ключ тупо скрежещет в скважине, а я паралитическими движениями пытаюсь его провернуть. Я думал, через секунду умру. – Давайте я, – вдруг говорит она мне. Берет у меня ключ и преспокойно открывает дверь. – Это Божий знак, – говорю я, – это ваш дом. Дом небогатый, но вас всегда здесь будут любить! – Чудачище! – отвечает она, с улыбкой оглядывая меня и входя в комнату. Она сняла плащ и оказалась стройной, чуть полноватой, очаровательной женщиной. Не успел я прийти ей на помощь, как она легко сама нашла вешалку, словно когда-то здесь бывала. Я достал бутылку водки из холодильника и молча вручил ей, показывая, что, несмотря на свой восторг от нее, я честно и мужественно выполняю свое слово. – А знаете что, – сказала она, взяв в руки бутылку и улыбаясь, – вы такой большой, добрый чудак. Вы мне нравитесь. Давайте мы с вами разопьем эту водку ради нашего знакомства. Мой муж сейчас спит как свинья. И я завтра приду домой, пока он еще будет спать. Пьянящая легкость разлилась по моему телу. Вдохновение вздымало меня под потолок. Я усадил ее и приготовил еду, пустив в ход все свои припасы. Начался ужин. Я недолил ей первую рюмку, но она вдруг сказала, что будет пить со мной наравне. Меня это несколько удивило, но я вспомнил: муж-пьяница приучил! Мы выпили всю бутылку. Я подсел к ней, чтобы чаще видеть ее профиль, а потом посадил ее на колени и стал нежно и страстно ее целовать. Она созревала в моих объятиях, как плод! Я был снова потрясен, когда узнал ее имя – Джульетта. Это был величайший намек судьбы, что сорвавшийся было мой юношеский роман сбывается! – Я всю жизнь ждал вас, – бормотал я, целуя ее. – Вот этого мне не хватало всю жизнь, – пылко отвечала она мне. – Вот этого! Ласки! Ласки! Конечно, я заметил, что у нее несколько примитивный язык. Но это меня даже восхищало. А что она знала, видела в этой жизни, кроме своего пьяницы мужа? – думал я. Я займусь ее духовным воспитанием, я отшлифую ее, как алмаз! Теперь это главная задача моей жизни, думал я, стихи временно отойдут на второй план. Мы провели бурную ночь: я – стареющий Ромео и она – все еще молодая Джульетта. Я исцеловал все ее тело, и она мне отдавалась бесконечно. Я только просил при этом лежать профилем ко мне, и она с улыбкой подчинялась моей просьбе. Уже к утру во время близости я вдруг почувствовал, что она уснула. Я удивленно замер. – Трахайте, трахайте, я все слышу, – вдруг прошептала она не открывая глаз и все еще повернутая ко мне своим ангельским профилем. Я оцепенел от вульгарности ее слов. Но потом взглянул на ее невинный, ангельский профиль, и истина осенила меня: ее пьяница муж других слов никогда и не употреблял! Святая наивность! Она думает, что так и надо говорить! Я еще более вдохновенно подумал: надо работать, работать над ней! Надо заново лепить ее, оставив только профиль! И тут сам провалился в сон. Проснулся я раньше ее. Почти не веря своему счастью, я взглянул на ее профиль. Он был на месте. Я тихо встал, принял душ, оделся, приготовил завтрак. Я разбудил ее поцелуями в оба профиля, и она, открывая глаза, улыбнулась и обняла меня. Мы сели завтракать. Она была свежа, как ландыш. Она так кокетливо вертела головой, дразня меня то одним, то другим профилем, что я чуть не прервал трапезу. Я предложил ей слегка опохмелиться. Она не отказалась. Мы договорились, что она будет приходить ко мне, пока не уговорит мать этого пьяницы перейти жить к нему. Мне показалось бесконечно трогательным, что она даже этого изверга пьяницу не может оставить без присмотра. Она вынула из сумочки записную книжку и вписала туда мой телефон. Я был счастлив как никогда! Я догнал судьбу, уцепился за ее хвост и притянул к себе через двадцать пять лет! Я очень хотел спросить о ее матери, о ее отце, но мне все стыдно было, потому что она их дочь, а я с ней спал. Мне было очень любопытно поговорить с ее отцом и иносказательно выяснить, не преследует ли его чувство мистической вины за то, что он всю свою жизнь провел с чужой женой. И уже когда она надела свой плащ и я ее выпускал из дверей, я все-таки с замирающим сердцем спросил: – Мама жива? – Да, слава Богу. – Познакомишь нас когда-нибудь? – Конечно, если она приедет. – А где она? – спросил я почему-то гаснущим голосом. Я что-то почувствовал. – Как – где? – удивилась она. – В Казани. Разве я вам не говорила, что я оттуда. – Она всегда жила в Казани? – спросил я, чувствуя, что дух из меня выходит. – Всегда. А что? – И она никогда не жила в Москве?! – Она даже никогда не была в Москве! А что? Дух из меня вышел вон. – Ничего, – ответил я и, как говорят женщине, когда нечего ей сказать, добавил: – Звоните. Так она и ушла. Оказывается, она не ее дочь! И профиль ее, оказывается, сам по себе мне не нужен! Крылья моей души повисли. Я вспомнил ее ночные слова и почувствовал, что не в состоянии забыть эту грубость. Сам я нередко бываю груб, но вот как я устроен – не выношу женской грубости. Сейчас я вспомнил, что вечером, когда мы пили и целовались, она, подбежав к большому зеркалу, висевшему на стене, оглядела себя во весь рост и лихо сказала: – С такими ножками не пропадешь! Странно, что тогда меня не передернуло от этой пошлости! Но в тот миг, когда она говорила это, она стояла профилем ко мне, и я, завороженный им, не придал значения ее словам. Я вдруг ясно понял, что она шлюха и, разумеется, к той девушке, которую я когда-то встретил в кино, не имеет ни малейшего отношения. Но этот нежный, беззащитный профиль… Проклятье! К тому же я никогда до этого не имел дело с проституткой… – И я никогда не изменял своим женам, – добавил он зачем-то с вызовом неизвестно кому. – Имея столько жен, ты не мелочился, изменяя им, – сказал я, поддразнивая его. – Ты сразу изменил всему институту брака. – Кстати, ты когда-нибудь ударил женщину? – вдруг спросил он. – Не помню, – ответил я. – Как такое можно не помнить! – удивился он. – Я ни разу в жизни не ударил женщину! – А мужчину? – спросил я. – И мужчину! – ответил он. – В таком случае, достоинство того, что ты ни разу в жизни не ударил женщину, сильно снижается, – сказал я. – У тебя, видимо, принцип: не бить двуногих. – Четвероногих тем более! – с очаровательной поспешностью ответил он и продолжил свой рассказ: – С тех пор она мне целый месяц звонила, а я, ссылаясь на занятость, но не грубя, отказывался от встречи. В конце концов она поняла, что я больше не хочу с ней видеться, и внезапно сказала в трубку: – Вы сильно пожалеете об этом. Я не придал значения ее словам. И вдруг однажды кто-то позвонил. Резкий мужской голос спросил у меня: – Это ты, поэт? – Да, – говорю. – Верни Джульетке ее пять тысяч баксов! – грозно приказал он. – Иначе получишь пять пуль! – Ты с ума сошел! – заорал я. – Какие баксы, какие деньги! Она никаких денег у меня не оставляла! И больше не смей звонить сюда! Видно, я своим мощным голосом на минуту осадил его. – Слушай, ты, – сказал он после некоторой паузы, – я серьезный человек. И не дурак, в отличие от тебя. Она мне соврать никак не могла, потому что знает, что я ее за это убью. Итак, через неделю пять тысяч баксов. Не сможешь, через две недели – семь. А если будешь дурить – смерть! Кстати, скитаясь по стране, я давно заметил, что партийные работники, к которым я обращался с той или иной просьбой, всегда сразу заговаривали со мной на «ты». То же самое и этот уголовник. Что их объединяет? Все остальные люди классом ниже, и это немедленно надо подчеркнуть. Я был потрясен. Я даже заново убрал постель, заглянул под кровать, думая, что, может быть, у нее эти деньги были и случайно вывалились. Но нет, там ничего не оказалось. По голосу я понял, что этот человек не шутит. Он явно уголовник. Пять тысяч долларов! А я еще, хотя настали новые времена, в глаза не видел ни одного доллара! Что делать? Я уже знал, что с наездом уголовников можно бороться только при помощи других уголовных авторитетов. Я уже знал, что все бизнесмены только так и поступают. У меня был хорошо знакомый джазовый певец, для которого я в свое время писал тексты песен. Я знал, что он якшается с людьми уголовного мира. Я поехал к нему и все рассказал. – А у тебя ее телефон есть? – спросил он у меня. – В том-то и дело, что нет. – Я постараюсь тебе помочь, – обнадежил он меня. – Жди моего звонка в ближайшие дни. Через два дня утром он звонит мне. – Пляши, – кричит он мне в трубку, – пляши! С тобой сегодня встретится знаменитый человек. Вор в законе по прозвищу Еж. Сегодня в три часа он тебя ждет в своем черном «мерседесе» с затемненными стеклами возле… – Он назвал один из главных универмагов Москвы. – У него там дело. Но он тебе уделит полчаса. И вот я к трем часам являюсь к этому универмагу и, сильно волнуясь, приглядываюсь к машинам. В самом деле, ровно в три подъехал черный «мерседес» с затемненными стеклами. Остановился. Я подошел к нему. Не решаюсь постучать в окно, но дверца сама открылась, и я услышал: – Поэт? – Да. – Садись. Я сел рядом с хозяином на переднее сиденье. Это был модно одетый, на вид тридцатипятилетний человек. Волосы на хорошо остриженной голове в самом деле торчали ежиком. – Джазист мне сказал, – объяснил он свое появление, – что ты поэт, не работающий на государство. Уважаю. Рассказывай все, как было, ничего не скрывая. И я стал ему все рассказывать, как было, хотя, конечно, о романтической предшественнице этой Джульетты не стал ничего говорить. И вдруг во время рассказа вижу, что голова его упала на грудь, глаза закрыты и он даже слегка посапывает. Я остановился. Думаю: кому я это все рассказываю? Он, видно, колотый, а теперь уснул. – Говори, говори, я все слышу, – вдруг произнес он не открывая глаз. Я вспомнил ночные слова Джульетты. Мистика параллелей преследует меня всю жизнь, подумал я, и продолжил свой рассказ. И вдруг – чудо! Оказывается, он действительно все слышал и, как ястреб, стал выклевывать точные вопросы. – Она у тебя один раз ночевала? – спросил он, позевывая. – Да, только один раз. – Понятно, – сказал он уверенно, – ни одна телка не оставит деньги мужику, с которым только раз переспала. Я продолжал рассказ. – А у тебя богатая квартира? – спросил он у меня через минуту. – Какое там богатство! – ответил я. – Разбитая машинка да книги. Никакой современной аппаратуры. Я ее презираю. – Или она тебя презирает? – вдруг жестко уточнил он. – Мы друг друга презираем, – сказал я примирительно. – Вот так будет лучше, – согласился он. – Значит, она не наводчица. Но что ей надо? Я продолжал говорить. Его голова опять упала на грудь. – Нет, – сказал он через несколько минут, поднимая голову. – Ты мне что-то недоговариваешь. Ты что, ей в любви признался, что ли? – Да, так получается, – согласился я, чтобы не вовлекать его в мистику профилей. – Тогда все ясно, – сказал он. – Проститутки любят завести мужика для души. Ты должен был всколыхнуться, когда она у тебя денег не взяла за ночевку. Она уже настроилась, что ты будешь ее ласковым лохом, а потом, когда поняла, что ты не хочешь с ней встречаться, решила тебе отомстить. Мужику, который тебе звонил, передай этот телефон. Он продиктовал мне телефон. – Запомнил? – Конечно, еще бы не запомнить! Это твой телефон? – спросил я, что показалось ему крайне наивным. – Ты в самом деле лох, – рассмеялся он. – Мой телефон через два телефона после этого. Но по этому телефону его свяжут со мной, и я скажу ему пару слов. В это время кто-то забарабанил по стеклу с той стороны, где он сидел. Он мгновенно подобрался, спружинился. Никакой вялости! Хищная настороженность! Он открыл окно. Возле машины стоял попрошайка. – Дяденька, дайте денег! И вдруг он психанул. – Иди работай! – гаркнул он с такой силой, что мальчик отпрянул. И вдогон ему, не поленившись высунуться в окно, рявкнул: – Воруй!!! Возможно, он уточнил, что имел в виду под работой. Мы распрощались. В назначенный день позвонил тот бандит. Слушаю его. – Сейчас отдашь баксы или поживешь еще неделю? Запомни: третьего звонка не будет, третий звонок будет с того света. – Я встречался с Ежом, – сказал я нарочито спокойным голосом. – Я ему все рассказал. Он дал телефон и повелел тебе позвонить. Записывай! В трубке тяжелое молчание. – Откуда ты знаешь Ежа? – спросил он, явно сбавляя тон. – Знакомы, – сказал я. – Катался в его «мерседесе» с затемненными стеклами. Развлекал его историей с Джульеттой… Так записываешь телефон? – Не будем беспокоить Ежа, – ответил он дружелюбным голосом. – Прости, браток! Вышла ошибочка. Видно, эта дура по пьянке сама не помнит, где оставила деньги. – Только не убей ее, – сказал я. – Кто же убивает дойную корову, – ответил он и положил трубку. Позже мой неутомимый джазист рассказал некоторые подробности этой истории, которые ему удалось выведать чуть ли не у самой Джульетты. Она целый год регулярно встречалась с крупным азербайджанским коммерсантом. И именно в ту ночь, когда я ее встретил, она доконала его своим любвеобилием. После третьего пистона, когда он мирно засыпал с чувством исполненного долга пожилого коммерсанта, она пыталась растормошить его для новых утех. И тут мирный коммерсант взорвался. – Что, я эти пистоны в кармане держу, что ли?! – крикнул он, как бы философски доказывая, что у карманов имеется ббольшая склонность к бесконечности, чем у человеческого тела. После этого он крепко ударил ее несколько раз и выгнал из квартиры. Правда, дав одеться вплоть до плаща. Тогда-то я ее и встретил, плачущую возле троллейбусной остановки. Как видишь, у меня она могла бы заснуть и пораньше. – И вот после всего этого ты мне скажи: почему некоторые шлюхи наделяются ангельским профилем? – Потому что мужчины, гоняясь за ангельским профилем, делают их такими, – ответил я. – Мне теперь не на кого молиться! – взревел он. – Ну почему же? – пытался я его утешить. – Ведь тот юношеский профиль девушки остался незапятнанным. Молись ему! – Я теперь никому не верю, прости Господи, – отвечал он и капризно добавил: – А почему она одна пришла в кино на последний сеанс? – А кинотеатр был заполнен? – спросил я. – Ты помнишь? – Да, – сказал он, – я хорошо помню! Только два места возле меня были пустыми. – Это лишний раз говорит о чуде, которое ты сам ощутил, – подсказал я ему. – Девушка явно должна была прийти в кино со своим парнем, но под действием чуда она его отвергла и пришла к тебе одна. – Опять я виноват?! – снова взревел он. – Нет, – попытался я утешить его, – чудо, вероятно, сорвалось по каким-то космическим причинам. – От всей этой истории, – мстительно громыхнул он, – у меня наворачиваются стихи о Нефертити, обладавшей лучшим профилем древнего Египта. С нее все началось! И она за все ответит! Вот набросок первых строк:

была ли сукой нефертити, скажите прямо, не финтите!

– Вот и напиши, – посоветовал я ему.

Что-то в моем голосе ему не понравилось. Вероятно, он ему показался слишком благостным, вероятно, он решил, что я так и не осознал всю глубину его внутренней трагедии.

– Больше всего меня раздражают, – вдруг сказал он, – так называемые светлые люди темного царства. Они как напудренные негры.

Впрочем, никаких уточнений по поводу того, к кому именно относятся эти слова, не последовало. Возможно, он думал о чем-то своем.

Посвящения

Однажды я его встретил, и он, о Боже, говорил еле слышным голосом.

– Что с тобой?!!

– Ты знаешь, – просипел он, – я женился на необыкновенной красавице! Она прочла мои стихи в журнале и сама меня нашла, так ей стихи понравились.

Представляешь, приехала ко мне из Владивостока, так ей стихи понравились! Но она почти глухая, как учитель моей юности. И все время умоляет меня читать ей стихи. При этом из женского кокетства она, красавица, не хочет пользоваться слуховым аппаратом. Мистика! Повторение истории с моим учителем! Это великий знак, что я должен остановиться на ней навсегда. Когда я умру, только она толково разберется в моем литературном наследии. Вот первые стихи, посвященные ей:

Его признание навзрыд

Ее внезапно отшатнуло,

Потом в слезах к нему прильнула,

Откинув волосы, как стыд.

С улыбкой сверху Бог глядит.

Там дуб, обугленный от страсти,

Там ива, мокрая от счастья,

Откинув волосы, как стыд,

В слезах стоит.

Поздравим иву, мокрую от счастья! Кстати, при внешней нередко грубой напористости наш поэт на самом деле обладал деликатнейшей душой. Он пять раз был женат, и каждый раз жены уходили от него, а не он от них. Он не мог решиться отнять у них такую драгоценность, как он. Но это была боевая хитрость его деликатности.

Если он чувствовал, что со своей женой больше не может жить, или влюблялся в другую женщину, он начинал регулярно напиваться и всю ночь вслух читал свои стихи, грузно похаживая по комнате.

В конце концов полуконтуженная жена не выдерживала этого и сама уходила, предварительно скрупулезно собрав стихи, посвященные ей, иногда прихватывая и стихи, посвященные другим женщинам.

Я случайно оказался у него дома, когда от него уходила, кажется, четвертая жена. Тогда он жил в Химках, в отдельной двухкомнатной квартире. Он пригласил меня, уверенный, что к моему приходу жена уйдет и мы выпьем по поводу этого мрачного события. Но жена задерживалась, и он нервничал. Из другой комнаты доносились голоса спорящих людей.

– Да это же Люськины стихи, – гудел он, – куда ты их берешь! Что я ей скажу!

– Какая там еще Люська! – визжала в ответ жена. – У тебя от пьянства совсем вышибло память! Ты же при мне их написал, скотина!

– Да это же Люськины стихи, – продолжал он гудеть, – что я ей скажу, если она узнает?

– С Люськой я сама разберусь! – крикнула жена. – Лучше вызови мне такси!

Дело в том, что все его жены, считая его чудовищем, одновременно были уверены в его гениальности. И каждой было важно перед тем, как уйти от него в бессмертие, запастись достаточно солидным багажом стихов, посвященных ей.

Оставленные жены, то есть, что я говорю, ушедшие жены, вели между собой бесконечные арьергардные бои по поводу тех или иных стихов, якобы самовольно присвоенных женой, которой они не причитались.

Иногда по этому поводу они изматывали его истерическими звонками, и он порой, не находя выхода из тупика, писал дополнительные стихи, выдавая их за стихи периода звонящей женщины, до этого случайно затерявшиеся в бумагах.

После чего неблагодарная бывшая жена говорила:

– Неряха! Как следует поройся в старых бумагах, я уверена, там еще кое-что затерялось!

Уже в гораздо более поздний период, когда выход книги нашего поэта стал неотвратимым фактом, бывшие жены загудели, как растревоженный улей. Они снова стали донимать его бесконечными звонками, пытаясь наново перераспределить посвященные им стихи, каждая, разумеется, в свою пользу.

Отчасти в этой путанице был виноват и он сам. Дело не в том, что нумерации посвящений он путал с нумерациями жен. Кстати, очередность жен он действительно иногда путал. Но над стихами он вообще никогда не ставил никаких посвящений, как, впрочем, и под стихами не указывал не только дату написания, но и год.

– Столетие и так известно, – говорил он с богатырской неряшливостью. – А все остальное мелочи.

Бухгалтерия посвящений начиналась, когда он расставался с очередной женой.

Это был своеобразный дележ имущества, учитывая, что никакого другого имущества почти не было.

И вот однажды при мне, когда одна из его бывших жен начала по телефону качать права по поводу каких-то стихов, он взорвался и заорал в трубку:

– Я сниму в книге все старые посвящения в пользу Глухой, если вы не уйметесь!

Но они не только не унимались, но по глупости, уповая на его рассеянность, стали претендовать и на стихи, посвященные последней жене, якобы припоминая, что они написаны в их бытность в качестве его жены.

Это было уже в новое, послеперестроечное время, когда стали публиковать его интимно-лирические стихи, которые до этого не печатали из пуританских соображений.

То, что дальше случилось, может быть следствием их наглых притязаний, а может быть и особенностью его поэтической фантазии. Скорее всего, и то и другое. Пусть литературоведы будущего это определят.

Он написал целый цикл великолепных стихотворений, посвященных своей последней жене, где в той или иной мере не слишком навязчиво, но определенно указывалось на ее глухоту. На эти стихи его бывшие жены никак не могли претендовать.

Здесь мастерство и его юмор, порой мрачноватый, достигли полного совершенства. Почему-то особенной популярностью пользовались стихи «С глухою женой в глуховатой стране». Стихи были замечательны, но разве мы знаем порой парадоксальные пути к сердцу читателя? Может быть, некоторые, прочитав эти стихи, самодовольно говорили про себя:

– Ну, у меня по крайней мере жена не глухая.

Я еще раз говорю: стихи отличные. Но другие стихи, исключительно виртуозные, где он, используя строчку Пастернака, чокается с ним, широкая публика не очень заметила. Он повторяет первую строчку стихов Пастернака «Глухая пора листопада». Он прямо с этой строчки начинает свои стихи, смело внеся в нее собственную пунктуацию:

Глухая, пора листопада,

Но слышишь ли ты листопад?

Все стихотворение – любовно-иронический дуэт с Пастернаком, где скрипка сопровождает фортепьяно, порой сливаясь с ним в уморительном экстазе, а порой, между прочим, роль смычка принимает на себя дружеская рапира!

Сквозь насмешки и усмешки в стихах нового цикла было столько нежности к предмету любви, что последняя жена явно смирилась с упоминанием ее природного недостатка, тем более что по стихам получалось, что она именно благодаря этому недостатку лучше всего на свете слышит душу поэта, а не шум листопада. Бог с ним, с шумом листопада! Однако предыдущие жены на всякий случай притихли. Так он вышел из положения. В поэзии преодоление каждого нового барьера – лишняя (никогда не лишняя!) демонстрация свободы и мастерства!

Последняя жена, дай Бог не сглазить, уже шесть лет живет с ним и никуда уходить не собирается. Злые языки говорят, что она глуховата, как его учитель-акмеист, и этим все объясняется.

– Если вообще этот учитель-акмеист когда-нибудь был, – добавляют еще более злые языки.

Да, я забыл упомянуть, что голос вскоре к нему вернулся во всей первобытной силе и больше никогда его не покидал.

И вот я его встретил с его последней женой перед концертом в консерватории.

Она действительно была интересной женщиной, но мне показалось забавным, что он с глухой женой пришел на концерт, при этом утверждая, что она из кокетства не пользуется слуховым аппаратом.

Мы разговорились, и, к моему изумлению, оказалось, что его жена все слышит.

Кстати, звали ее Ася.

– Что же ты говорил и писал, что она глухая! – расхохотался я. – Она же прекрасно все слышит!

– Он вечно клевещет на меня, – смеясь (вот умная женщина!), пояснила его жена. – Ну, у меня слышалка немного ослаблена. А он, дурак, не понимает, что в этом наше семейное счастье! Ничего себе глухая! Я расслышала его из Тулы!

– Во-первых, – загудел Юра, ничуть не смущаясь, – не забывай, что ты сам громогласен, почти как я. А во-вторых, посмотри на ее серьги! Это новейший слуховой аппарат, выписанный из Италии. Его нам подарил один итальянский дипломат за то, что я, ни разу не видя Сицилию, описал ее лучше всех итальянских поэтов!

Жена его снова расхохоталась.

– Слушайте его, – сказала она, – это серьги от моей мамы!

– Что же, я и про Сицилию выдумал? – обиделся наш поэт.

– Нет, насчет Сицилии правда, – серьезно подтвердила его жена. – Этот дипломат при мне хвалил его стихи о Сицилии. Но насчет подарков у них туговато.

Концерт прошел прекрасно. Наш поэт не поленился встать в очередь поклонников, чтобы поблагодарить пианиста.

– Я – что, жена потрясена! – прогудел он, обнимая могучими руками не менее могучего пианиста. Но, оказывается, поблизости в очереди стоял один злой шутник, знавший нашего поэта.

– Не слушайте его, – сказал он пианисту, когда поэт отошел, – у него жена совершенно глухая, и он об этом уже написал целый цикл стихов.

– Как – глухая? – растерялся пианист.

– Как тетеря! – кратко пояснил злоязычник.

Но пианист был человеком с юмором.

– Глухая поклонница – триумф для музыканта! – сказал он и расхохотался.

Кроме стихов наш поэт знал огромное количество вещей, почерпнутых из книг и из жизни. Он любил поговорить обо всем, кроме политики. Он так объяснял свое отвращение к политике:

– Я родился в роковом одна тысяча девятьсот тридцать седьмом году. В этот год Сталин, окончательно отчаявшись воспитать своего хулиганистого сына Васю, решил воспитать страну в целом, а через нее и Васю. Для этого он полстраны поставил в угол, отправив в Сибирь. Кстати, на Васю это никак не повлияло. Не надо никого воспитывать. Каждый воспитывается сам. Политики пытаются воспитать человечество, забывая, что сами невоспитанны.

О политике он знал так же много, как и обо всем. Просто он не любил о ней говорить и не впускал ее в стихи. С фантастичностью его памяти могла соперничать только фантастичность его воображения.

– Юра знает все, но неточно, – сострил про него кто-то из друзей.

Я должен вмешаться и поправить неточность самой остроты. Дело в том, что наш поэт укрупнял явления жизни как явления самой поэзии. Он хотел, чтобы мир был поэзией в готовом виде.

Издатель, который двадцать лет не издавал его книгу, по каким-то его астрологическим выкладкам оказывался родным племянником Люцифера. Издание книги нашего поэта означало бы для издателя верную смерть. Что характерно, сам издатель не знал, что он родной племянник Люцифера, но почему-то знал, что издание книги нашего поэта означает для него верную смерть. Кто же добровольно пойдет навстречу собственной смерти?

Глубоко затаенную иронию в его словах не все замечали. Иногда даже он сам ее не замечал.

Однажды его крепко обсчитал один официант. Но наш поэт из гордости не сказал ему ничего. Но потом по зрелом размышлении он пришел к неотвратимому выводу, что этот официант – скрытый киллер и обсчитывает клиентов, чтобы смазать истинный источник своих доходов. На некоторых интеллигентных клиентов его логика произвела такое сильное впечатление, что они совершенно перестали проверять счет официанта, и он окончательно обнаглел, уже совсем не оставляя сомнения в том, что он скрытый киллер. По словам поэта, официанту удалось обдурить даже чекистов. Они долго следили за его работой и пришли к ложному психологическому выводу: официант, который постоянно обсчитывает клиентов, не может быть киллером. Но почему-то может оставаться официантом. Не исключено, что наш поэт, укрупняя явления жизни, боролся со скукой жизни.

Даже преувеличение самой скуки есть форма борьбы со скукой.

Добро первично, и потому роза красивая

Кстати, вот его высказывания по поводу литературы и жизни. Некоторые из них я записывал, некоторые сохранила память.

Странно, что до сих пор никому не пришло в голову определить, кто из евангелистов наиболее талантливый. А может, так и надо: равны в любви к Христу.

Когда я пишу и вдруг во время писания боюсь умереть, не закончив стихотворения, – это признак того, что стихи будут настоящими.

– Меня никак не назовешь легковесным поэтом, – грохотал он однажды, намекая на оба смысла слова. – Я работаю над стихами до упора, пока не почувствую, что вес строки равняется весу моего тела. Тогда, значит, гармония достигнута.

– Ты знаешь самую гениальную лирическую строку в мировой поэзии? – спросил он у меня однажды.

– Нет, конечно, – ответил я, уверенный, что он процитирует себя.

– А я знаю! – гаркнул он. – Она в Библии! Книга Бытия. Если ты помнишь, Бог велел Аврааму, чтобы проверить его преданность себе, принести ему в жертву своего любимого сына Исаака. Богопослушный Авраам взял нож, нагрузил дрова на ослика и повел с собой сына Исаака к месту жертвоприношения. А сын, конечно, ничего не знал. Мальчик только знает, что отец готовится к жертвоприношению. Но он не видит жертвенного животного и спрашивает у отца, не понимая, что он сам должен стать жертвенным животным:

– Отец мой, вот огонь, вот дрова, где же агнец для всесожжения?

Вот самая потрясающая строчка в мировой поэзии! Никто в мире не догадался, кроме меня, что Бог отменил жертвоприношение Авраама, побежденный наивностью мальчика. Бог понял, что святая доверчивость сына к отцу для него ценнее богопослушности Авраама. Это его и остановило, а не верность Авраама. Никто до меня об этом не догадался. В этот миг и был задуман Христос, который никогда так жестоко не мог испытывать человека на верность Богу. Через безгрешную доверчивость ребенка Бог догадался о возможности нового подхода к человеку. Потому и Христос так много говорит о детях: будьте как дети! Вот, кстати, новые стихи о Христе:

Духовный обморок Христа.

В кровавой пелене – ни зги.

Тогда Он возопил с креста:

– Отец Небесный, помоги!

От боли крикнул небесам,

Уже не помня ничего,

Уже забыв, что Бог Он сам,

Что пусто небо без Него.

И потому из века в век,

Среди невзгод или тревог,

По праву молвит человек:

– Мои страданья знает Бог.

– Мой принцип, – говорил он, – энергия стиха и никаких идей! Если человечество выживет, этот принцип будет всеобщим. Вся моя жизнь – служение ему. В этом, как ты говоришь, сюжет моего существования. Уже Пушкин об этом догадывался. Когда он говорил, что поэзия должна быть глуповатой, он хотел сказать: подальше от идей, а не от мыслей. Это разные вещи.

Через двести лет, уничтожив компьютеры и всякую подобную дьявольщину, люди, чтобы поднять себе настроение, будут собираться и читать стихи моего направления. Так мы сейчас собираемся, чтобы выпить и повеселиться.

Сердечник не будет в кармане носить валидол, а будет носить в голове стихи Пушкина. Сердце забарахлило? Остановится и вместо того, чтобы, шевеля губами, подсчитывать пульс, будет читать шепотом Пушкина: «Мороз и солнце – день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный?» Глядишь, по мере чтения стихов и сердце отпустило. Кстати, вот шуточные стихи о Пушкине:

Смотритель-ангел Богу рек:

– Взгляни на Пушкина, мой Боже,

Над всеми этот человек

Трунит – и над тобой, похоже?

Бог не ответил ничего,

А мог сказать слова такие:

– Все знаю, но люблю его,

Кого ж еще любить в России?

– Интересно заметить, – прогудел он однажды, – романтические герои Пушкина:

Сильвио, Германн, да и лермонтовский фаталист, – все европейцы по происхождению. Почему бы это? Россия была тогда прочной, консервативной страной. Декабристы – прививка от революции. Мышление развитого русского человека представлялось здраво-реалистическим. Европа была взбаламучена и измучена революциями.

Люди эмигрировали в Россию, как в спокойную, уравновешенную страну. Так наши теперь бегут на Запад. Характеры Сильвио и Германна казались Пушкину для русского человека недостаточно правдоподобными, и потому он их сделал иностранцами по происхождению. И подумать только! Всего через тридцать лет у Достоевского русский человек был готов на самые безумные парадоксы, и это было правдиво. Есть над чем подумать нашим критикам! Да что о них говорить, когда они меня, живого, до сих пор не заметили!

О, Русь! Ни охнуть, ни вздохнуть

Или вздохнуть и охнуть снова,

Недолог оказался путь

От Пушкина до Смердякова!

Юмор – осколки счастливого варианта жизни, хранящиеся в прапамяти человечества.

Мысль – единственное выражение умственного мужества.

Чтобы понять поэта, надо его полюбить. Потом ты можешь охладеть к нему, но то, что ты понял, когда полюбил, уже никуда не уйдет.

– Я ему не подам руки, – охотнее всего говорят те люди, у которых в глубине сознания подавлено желание сказать: не подам!!!

Здесь коренное отличие христианства от либерализма.

Помню, мы как-то спорили по поводу соотношения поэзии и правды в стихах. Это было лет двадцать тому назад. Он шутливо сымпровизировал на эту тему:

Это братья-близнецы -

Только разные отцы:

У того отец небесный,

А у этого телесный.

Самое забавное: я недавно где-то прочел, что, оказывается, женщина в редчайших случаях может родить близнецов от разных мужчин, если имела с ними близость в течение одних суток. Поэзия обогнала науку. Он в своей шутке утверждал эту возможность.

Для поэта, говорил он, толковость в творчестве подразумевает бестолковость в жизни. Закон сохранения энергии. С этим надо иметь мужество примириться раз и навсегда. Многие поэты безуспешно пытались с этим бороться.

Маяковский сделал колоссальные усилия, чтобы преодолеть это естественное противоречие. Он хотел быть толковым в творчестве и стать толковым в жизни.

Он даже гордо писал: «Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак».

В результате он разладил толк в творчестве и не наладил в жизни. И тогда, потеряв сюжет существования, он застрелился.

Конечно, хорошо, когда жена, брат или друг ведут поэта по аду жизни, как Вергилий. Но где их взять? Это чистое везение.

Когда парикмахер, вымыв мне голову, сорвал с меня покрывало, я почувствовал себя памятником. Так вот кто нам делает славу!

– Визгливость – признак бессилия, – сказал он как-то и добавил: – Прошу не путать с громким голосом.

Однажды в застольном разговоре, как бы противореча своей знаменитой балладе, он выпалил тут же сочиненную эпиграмму:

Всех подлецов заочно

Прощаю. Нет обид!

Поскольку знаю точно,

Что Бог их не простит.

Одному бывшему своему другу, который крепко продал его в молодости и с тех пор делал неоднократные напрасные попытки снова сблизиться с ним, он при мне сказал:

– Если ты человек, это твоя проблема с Богом, а не со мной. А если ты не человек, то на хрен ты мне сдался!

Идеальное стихотворение – это румяный с мороза ребенок, вбегающий в комнату и бросающийся тебе на шею!

Чем талантливее художник, тем ярче, отчетливее он видит образ того, что он хочет показать. И поэтому он намного больше работает над черновиками, чем средний художник, ведь он стремится уподобить то, что он пишет, тому яркому, отчетливому образу, который он видит в воображении.

Средний художник не может столько работать над рукописью, сколько большой талант, потому что он достаточно расплывчато видит в воображении свой образ и создает его именно таким расплывчатым, как видит. Если бы он попытался большими трудами достигнуть больших результатов, он бы испортил и то малое, чего достиг. Он не видит отчетливо свой идеал и потому не знает, куда работать.

Воспоминание детства. Астрахань. Я сижу под деревом с кулечком ирисок, купленных мне дядей. Блаженство! Обожаю ириски!

Но от них у меня болят зубы, и одновременно эту боль зубов перебивает сладость ирисок. Особенно сильно я чувствую боль, когда одну ириску уже высосал, а другую еще не успел бросить в рот. Поэтому, высосав ириску, стараюсь следующую быстрее бросить в рот. Я чувствую какую-то таинственную связь между болью, которая вызывается сладостью, и ослаблением боли, которую я этой же сладостью заглушаю, иногда сразу две ириски бросая в рот. Но понять, хотя пытаюсь, таинство этой связи не могу. Мне лет шесть.

По-видимому, любопытство к мудрости дается некоторым людям от природы, как музыкальный слух.

Ум динамичен. Без улыбки

Он с косностью вступает в бой.

Его победы и ошибки

Почти равны между собой.

А мудрости статичный разум,

Он все сомнения души

Как бы учитывая разом,

С улыбкой шепчет: «Не спеши».

Маленькую, трехлетнюю, девочку, рассказывал он однажды, отправили в детский сад.

– Ну как, хорошо тебе там было? – спросили у нее дома вечером.

– Плохо, очень плохо, – ответила она.

– Но там же столько детей, столько игрушек! – удивились родители.

Девочка подумала и сказала:

– Дома светлей!

Даже если она имела в виду физический свет, она сказала очень важную вещь.

Мы недостаточно отдаем себе отчет, как высветляет душу светлое помещение. И как притемняет душу тусклый свет. России климатически всегда не хватало света. Вот почему ей так необходима светоносная поэзия.

Тирану не дает покоя призрак убийцы. И чем тише вокруг него, чем меньше признаков существования оппозиции, тем подозрительней тишина. Ужас тишины, вызванной страхом перед ним, тиран воспринимает как ужас подготавливаемого в тишине заговора. Чем тише вокруг, тем явственней по ночам встает над ним призрак убийцы. Наконец, этот призрак делается невыносимым.

И тиран начинает убивать сам, разрушая, как ему кажется, зреющий заговор.

Ухватившись пальцами за реальную, теплую глотку, он постепенно освобождается от видения невыносимого призрака, за глотку которого невозможно ухватиться.

И чем больше реальных глоток хрустит под его пальцами, тем видение призрака делается все слабее и слабее. Реальность освобождения от призрака еще больше вдохновляет его удушать реальных людей. И чем больше он удушает реальных людей, пусть через мнимые суды, тем призрачнее делается призрак.

И наконец, в зависимости от страны, истории, от силы мании, убив сотни или сотни тысяч людей, он вдруг радостно ощущает, что призрак исчез.

И тогда он перестает убивать. Исчезновение призрака, мучившего его, он воспринимает как следствие своевременного подавления зревшего заговора. И он некоторое время живет нормальной жизнью, весело, бестревожно. А вокруг него полная тишина, никакого мышиного шороха оппозиции.

Но вот сама полнота этой тишины постепенно становится подозрительной. И ночами снова появляется призрак убийцы. И теперь тиран мучается, с трудом засыпая на рассвете. И тогда он с тоской вспоминает: отчего еще совсем недавно ему было так весело и спокойно и никакие призраки его не тревожили?

Оттого, с железной логикой отвечает он самому себе, что я в зачатке раскрыл заговор, уничтожил заговорщиков и их некоторое время не было. Оттого мне было весело и спокойно и призрак убийцы не являлся.

А теперь он снова появился. Вон покачивается в углу спальни. Почему? Ясно почему. Моя гениальная интуиция подсказывает мне, как и в тот раз, что снова появились заговорщики. А призрак мучает по ночам, мучает невыносимо, и так как призрак нельзя задушить, руки тянутся к реальной глотке. И снова начинается террор.

И как только начинают хрустеть реальные глотки, призрак бледнеет и бледнеет и в конце концов истаивает после какого-то числа переломанных теплых глоток.

И в один прекрасный день тиран успокаивается, приходит в равновесие и лишний раз убеждается, что вовремя подавил заговор.

Через некоторое время все повторяется. И так до тех пор, пока действительно кто-то из приближенных к тирану, предчувствуя новый виток борьбы с заговорами и боясь стать его жертвой, в самом деле его не убивает или просто тиран не умирает своей смертью.

Он был так рассеян, что не заметил, как жена от него ушла. Через несколько дней, узнав об этом, жена из самолюбия вернулась. Она не могла смириться с мыслью, что уход ее не замечен.

– Ты что, у мамы была? – спросил он, увидев ее.

– Но ведь моя мама умерла, – ответила она в отчаянии.

– Извини, дорогая, – смутился он, – совсем замотался.

И снова погрузился в работу. И тут жена окончательно ушла, но он этого опять не заметил. Через день он вспомнил о прошлом уходе жены и стал соображать: раз она не была у мамы, значит, где-то была. Но где?

Он хотел спросить у нее, но ее опять не оказалось дома. Наверное, к маме ушла, подумал он, опять забыв, что мама у нее умерла. Очень уж давно она умерла.

Цветаева гениально сказала, что женитьба Пушкина на Наталье Николаевне – это стремление переполненности к пустоте. Но можно продолжить ее мысль. Пушкин на удивление друзьям нередко любил общаться с пустыми людьми. Электричество его переполненности требовало заземления, иначе он взорвался бы. Друзья этого не понимали, скорее всего, и сам Пушкин этого не понимал.

Тот, кто думает так, но не осмеливается сказать, что думает так, на самом деле только думает, что думает так, но думает иначе.

Все шлюхи в старости делаются ханжами. В чем дело? Жадность. Уже неспособная обжираться телом, старается как можно больше отожрать от добродетели.

Сплетня – сладость заговора без его опасности.

Пьяницами становятся в первую очередь люди с очень здоровой психикой. Они долгое время не испытывают похмельного ужаса. Потом, конечно, психика сдает, но уже отказаться от питья трудно – алкоголик. Я, к счастью, застрял на первой стадии.

Если ты дурак, то будь хотя бы флегматиком.

Лакей лучше всего узнается не в лакействе, а в дерзости.

Высокомерие – комплекс неполноценности в прочности своего положения. Через высокомерие человек убеждается в реальности своего высокого положения или представления о себе.

Шаблонные рифмы типа «любовь – кровь» не потому плохи, что сами стерты, а потому плохи, что тянут за собой избитый смысл строки. Если же поэт, пользуясь шаблонной рифмой, все-таки может освежить смысл строки, мы получаем дополнительное удовольствие от смелости поэта, и перешаблоненная рифма сама освежается, как бы иронически подмигивая своему шаблонному смыслу.

– У нас было потрудней, – сказал он, попав в ад и обустраиваясь в нем.

– Ты из какого лагеря, браток? – спросили у него обитатели ада.

– Планета Земля, – ответил он. – А у нас считают, что вселенная необитаема.

…В самом деле, если есть тот свет, только там мы узнаем, обитаема ли Вселенная. Не может же Бог быть столь мелочным, чтобы для обитателей разных планет устраивать особый рай или особый ад.

Пьяный сунул в клетку с обезьяной палку и ткнул ее. Обезьяна взвизгнула.

– Интересно, что она этим хотела сказать? – удивился пьяный.

– Она хотела сказать, что человек еще не произошел от обезьяны, – пояснил я.

– Произойдет, куда денется, произойдет, – гениально утешил пьяный.

Бессонница – потеря простодушного отношения ко сну, навязчивость недопрожитого или перепрожитого дня. Боязнь бессонницы порождает бессонницу.

Когда путается сознание, то есть начинаешь засыпать, – вдруг толчок, и сознание проясняется. Откуда этот толчок? Психика, не управляемая разумом, зафиксирована на сне. Вместо того чтобы разумно приказать организму: тише, тише, он засыпает, – она орет: он засыпает! – и ты вздрагиваешь и просыпаешься.

Бывает, хочешь припомнить нужное слово – и никак не можешь. Напрягаешь память, но ничего не получается. Плюнул, махнул рукой и стал думать совсем о другом, и вдруг нужное слово само всплывает в памяти. Значит, работа памяти по воспоминанию нужного слова продолжалась помимо воли? Но зачем ей нужен был этот перерыв? Или излишнее понукание сбивало память с толку, как излишняя строгость снижает сообразительность ребенка? Интересно, что об этом думает наука?

В чем дело? Чем хуже в стране идут дела, тем этот человек делается все веселее, размашистее, уверенней. Может, его доходы увеличиваются? Нет.

Может, его личная жизнь становится осмысленнее и богаче? Как была нелепой, так и осталась. Видимо, дело в том, что разложение внешней жизни все более и более совпадает с разложением его внутренней жизни. Внешний распад все более гармонизируется с его внутренним распадом, и это улучшает его настроение.

Страшный сон: он с хохотом входит ко мне в дом, и я понимаю, что все кончено. Не дай Бог!

Жалоба современного Прометея:

– Мне не то обидно, что клюют мою печень. А то обидно, что попугаи, а не орлы клюют мою печень. При Зевсе было величественней.

У входа в метро подтаял лед. Очень скользко. Парень, шедший впереди меня, поскользнулся и долго извивался, чтобы удержать равновесие, героически приподняв над головой сумку, в которой виднелись бутылки с выпивкой. Было ясно, что он не столько пытается удержаться на ногах, сколько старается даже упав удержать сумку над головой. Наконец я его схватил и восстановил равновесие.

– Судя по звуку, бутылки уцелели? – заметил я.

– Уцелели! – радостно подтвердил парень и вошел в метро.

Кажется, все рекорды в беге на длинную дистанцию у африканцев. Родина страусов.

Человек, у которого большие полушария мозга работают с такой же интенсивностью, как большие полушария задницы.

Очаровательная строфа Фета:

В моей руке – какое чудо! -

Твоя рука,

И на траве два изумруда -

Два светляка.

Очевидцы чуда – светляки. Их было два. Трезво-арифметическая цифра настаивает, утверждает, что чудо было реальным. Если бы поэт написал, что светляков было множество, чудо было бы не столь убедительным: мало ли, что показалось. А тут именно два. Два светляка – и две руки. Совпадение парностей. Чудо совпадения парностей делает еще более реальным первое чудо.

При этом абсолютная непринужденность строфы, как выдох. Это уже мастерство.

Свободный человек – это человек, чуткий к свободе другого и потому непринужденно самоограничивающийся. Это непринужденное самоограничение и есть вещество свободы. Понимать свободу как вещь для собственного употребления – все равно что сказать: «Я щедрый человек. Я хорошо угостил себя».

Хочу написать статью «Байрон и Чехов». Байрон – певец мужества, но всегда при зрителях и для зрителей. Чехов – писатель деликатно и глубоко скрытого внутреннего мужества. Байрон внешне героичен, но внутренне прост и однообразен. Чехов внешне прост, но внутренне многообразен и скрыто героичен.

Понижение уровня всякой обсуждаемой проблемы прямо пропорционально количеству обсуждающих проблему людей. Двое, трое, четверо – еще можно удержаться на хорошем уровне. Дальше идет спад. Идеал тупости – толпа.

Забавный случай рассказал ему один его приятель, а он пересказал мне. Вот как было дело:

– Пришел к товарищу юности в гости со своим сыном, взрослым балбесом. Сидим за столом, слегка выпиваем, товарищ рассказывает, как его сын в наше трудное время помогает отцу, регулярно подбрасывая ему деньги. Во время рассказа случайно ловлю взгляд собственного сына со страстным укором, обращенным на меня. В чем дело? Сначала не мог понять, потом догадался.

В голове моего сына, вечно выклянчивающего у меня деньги, все перевернулось!

Он вообразил себя отцом, а меня своим сыном. Его страстный, молчаливый укор означал: ты видишь, как сын помогает отцу? А ты? И тебе не стыдно?

Он сам не замечал лихого сальто собственного эгоизма.

Управляющий страстью – более страстный человек, чем тот, кто проявляет безумную страсть. Слаломист, неожиданно тормозящий, делающий резкие зигзаги и броски, производит впечатление большей страстности, чем лыжник, сломя голову летящий с горы.

Один из застольцев неожиданно вторгся в разговор.

– Ганди был китайцем, – взволнованно сообщил он, – его истинный отец – китаец! Я лично читал об этом!

Как – китаец? Откуда китаец? Почему китаец? Да ниоткуда! Оскорбленный невниманием к своей особе, он решил всех огорошить: Ганди был китайцем! И добился минутного внимания к себе. Это минутное внимание иногда длится годами, если вовремя крикнуть:

– Ганди был китайцем!

Звонит читатель:

– Я прочел ваши стихи в журнале! Мне они очень понравились!

– Спасибо!

– Я хотел бы приехать к вам домой и познакомиться с вами.

– Боюсь, что вы ничего в них не поняли!

– Как не понял? Я все понял!

Тогда откуда такое нахальство? – хотелось сказать, но не сказал.

Видел сон, и во сне было страшно. Во сне я видел родное море возле Астрахани. Море отошло от берегов метров на двести, и оголилось дно, из которого торчали острые, злые скалы. А ведь я все детство купался в этих местах, сотни раз нырял и никаких злых скал там не видел. Во сне было горькое и грозное чувство, что я всю жизнь не знал истинного состояния своего моря. Обнажившиеся острые, слизистые скалы предрекали какую-то беду.

Думаю, что этот сон ткнул меня в мою излишнюю доверчивость к народу. Любому народу.

В англосаксонской литературе немало произведений, где герои соревнуются в благородстве. Например, «Запад и Восток» Киплинга. В нашей литературе я что-то не могу припомнить таких героев. У нас есть прекрасные, благородные герои, но им не с кем соревноваться в благородстве, они всегда в одиночестве.

Может быть, дело в том, что в нашей истории не было рыцарства? Чешутся руки написать стихи о состязании двух людей в благородстве. Но не могу найти сюжета. Может быть, не хватает благородства, чтобы найти сюжет?

Чем глупее человек, тем он дольше говорит по телефону: неиссякаемость отсутствующей информации.

Рука женщины, нежно гладящая больного ребенка и утешающего его этим. Рука фокусника, виртуозными пальцами выделывающая невероятно ловкие движения и этим развлекающая зрителей. И тут все понятно, все на месте: и рука женщины, и рука фокусника.

Но точно так же существуют два типа ума: один из них – рука женщины, а другой – рука фокусника. И рука фокусника часто изображает руку женщины, и ей чаще верят, чем истинной руке истинной женщины.

Анкетные данные. Человек надежный, в подозрительных уединениях с совестью не замечался.

Что это был за человек! Мы кружились вокруг его головы, как мотыльки вокруг лампы!

Иногда в хмельном состоянии лучше узнаешь человека. Не потому, что ты лучше соображаешь, а потому, что он хуже маскируется.

Помню, как в студенческие времена после весенней сессии ехал в поезде из Москвы в Астрахань. В тот раз я был совсем без денег и без еды. Три девушки были со мной рядом в купе. Ехать надо было три дня. С небольшим опозданием в один день, заметив, что я ничего не ем, девушки стали подкармливать меня.

Доехали весело. Позже, летом, я их несколько раз встречал в Астрахани, здоровался, но подойти не мог из глупого стыда. Мне казалось, что на их милую, скромную щедрость я должен здесь ответить пиршеством, но денег на это не было. А тогда казалось, что не ответить пиршеством – позор.

В те же годы в Астрахани справляли поминки по одному знакомому нам человеку.

Столы по-южному уставили во дворе под деревьями. Люди еще не успели рассесться. За одним из этих столов уже сидела необычайно красивая девушка, казавшаяся сказочно красивой здесь, в черной рамке смерти. Я обратил на нее внимание. Заметив это, она стала очень быстро есть. Видимо, кокетство вызвало в ней аппетит. Не ест, а исполняет какой-то сексуально-гастрономический танец. От былой за минуту до этого красоты ничего не осталось. Смерть, красота, пошлость.

В молодости один милый поэт время от времени читал мне свои новые стихи.

Если я говорил, что стихотворение неудачно, он с комическим постоянством повторял:

– Опять перетончил!

Главный признак провинциализма в литературе – стремление быть модным.

Нужно движение, беспрерывное трение о мир, чтобы задымилась искра мысли, а потом нужны тишина и одиночество, чтобы эту искру раздуть.

Чем богаче еда, тем вонючей дерьмо. У вегетарианца, надо полагать, благородный козий помет.

Современный, интеллигентный мальчишечка сказал женщине:

– Тамара Ивановна, будьте любезны, скажите мне, пожалуйста, вы не видели, где моя подушка-пердушка?

Этот человек свою трагедию пережил с таким деликатным мужеством, что никто не заметил этого мужества. Все решили, что он холодный человек.

Ночью в купе. Бессонница. Соседи по купе то дружно, то вразнобой храпят.

Дискуссия глухонемых. У одного из храпящих аргумент иногда достигал такой хамской силы, что он перекрывал им храп обоих и, перекрыв, успокаиваясь на минуту, затихал. Потом он начинал скромно храпеть, как бы предлагая вести дискуссию в джентльменских тонах. На что один из двоих взрывался в храпе, укоряя за его предыдущий наглый выпад.

Что делать? Как заснуть, не убивая их? Я долго думал и наконец, догадавшись о чрезвычайной выгоде своего положения, успокоился и уснул. Я подумал, насколько же безопасней лежать в купе, слушая храп пассажиров, чем лежать в палатке в джунглях, слушая рыканье хищников возле палатки. Храп – признак близости цивилизации. Успокоившись на этом, я уснул. Но я не знал, что, уснув, ввязался в их дискуссию и разрушил ее под утро.

– Я из-за вашего храпа проснулся, – сказал мне утром как раз тот, чей храп достигал наибольшей хамской силы.

– А я под ваш храп уснул, – ответил я ему.

Мне показалось, что он остался очень доволен – то ли миролюбием своего храпа, то ли его исключительной музыкальностью.

Имя знаменитой шпионки Мата Хари звучит как псевдоним русского мата.

Обрывок разговора. Парень, стараясь занять девушку, рассказывает ей:

– Я тогда в горах попал под такой ливень, что получил сотрясение мозга.

– Град или ливень? – переспрашивает девушка.

– В том-то и дело, что ливень, – уточняет парень, – град – это неудивительно… В тот раз в горах был такой град, что на моих глазах убил лошадь.

– А ты как уцелел? – спрашивает девушка, не очень удивляясь, что явно огорчает парня.

– В дупло залез, – говорит он, – потому и уцелел.

– А дупло было большое? – спрашивает девушка.

– Огромное! – радостно подхватывает парень. – Вся наша туристская группа уместилась в нем.

Девушка опять не очень удивляется. Что же надо такое сказать, черт побери, чтобы удивить ее!

Мы знаем две истории человечества – античную и христианскую. Античная история имела огромные культурные достижения, но, не сумев создать гармонический мир, рухнула. Христианская история создала грандиозную культуру и цивилизацию, но, не сумев создать гармонический мир, видимо, приближается к своему концу. По законам мистики и спорта, уверен – будет третья попытка истории человечества. Но это будет последняя попытка. Если человечество и на этот раз не сумеет создать достаточно гармоничный мир, боюсь, оно будет навсегда дисквалифицировано.

Оскал старой красавицы – кокетливый призыв смерти. У всех старых городских красавиц источенные лица. Шутка ли? Лицо, как мотор соблазна, десятилетиями работавший беспрерывно, и чем гуще смазка, тем заметнее, как он источился.

Пьяный сидел на скамье электрички, закрыв глаза и уронив голову на грудь.

Напротив него сидела его жена. Он время от времени клал руку ей на колени и быстрыми, умоляющими, призывающими движениями пальцев просил взять его руку в свою ладонь. Это было понятно. Но женщина не брала его руку в свою ладонь, а время от времени небрежно снимала его руку со своих колен. При этом всем своим обликом она как бы говорила: будешь знать, как пить!

Пьяный снова клал руку ей на колени и быстрыми, умоляющими, долгими, терпеливыми движениями пальцев призывал ее руку. Но женщина была неумолима.

Через некоторое время она сбрасывала его руку со своих колен все с тем же выражением на лице: будешь знать, как пить!

Через некоторое время пьяный снова дотягивался рукой до ее колен и терпеливо призывал ее ладонь. Казалось, пальцы его стремились докарабкаться до ее руки и просили ее помочь ему. Видно, он чувствовал ужас похмельного одиночества.

Но она была неумолима. Так продолжалось полчаса, пока я ехал в электричке.

Конечно, нехорошо, что он так напился. Но она стерва. Возможно, он и напился, потому что она стерва.

Если человек не тяжело болен, бестактно говорить: «Когда я умру…» Можно подумать, что те люди, которым это говорится, бессмертны.

В молодости на пароходе плыл первый раз в Одессу. На пароходе все девушки казались привлекательней и таинственней, чем на суше. Пароход, да еще летний, – новая жизнь, новая земля, новая любовь! Всеобщее желание обратить обычное путешествие в свадебное.

Играл на палубе в пинг-понг с китайскими студентами. Все они играли хорошо и ракетку странно для нас держали между пальцев. Возможно, привычка к палочкам для еды. После игры я решил угостить их пивом. Сказал им об этом. Они собрались в кучу и, некоторое время посовещавшись по-китайски, смело приняли мое предложение. Видеть их совещание было смешно. Мы были на разных уровнях идеологизации. Они еще ползли наверх, а мы уже сползали с вершины.

Один из ускользающих и одновременно точных признаков гения – это ощущение: неужели он в самом деле жил? Ближайший пример – Осип Мандельштам. Неужели он был? По этой же причине гений редко при жизни признается гением. Мешает, что он живой. Даже если отбросить невежество и зависть, остается глубинный, хотя и неосознанный аргумент: живой, а поет райские песни. Что, он там был, что ли? Откуда он их знает? Значит, песни только кажутся райскими. После смерти легче признать: как бы отчасти оттуда поет.

Фокус – пародия на чудо с целью погасить ностальгию по оригиналу.

Он давал взятки чиновникам только для того, чтобы они действовали в рамках закона. Чиновники в этом случае брали взятки за дискомфортность ситуации, в которую он их ставил.

Этот человек, разговаривая с богатыми, неизменно впадал в какое-то неаполитанское сладкогласие. Ему ничего от них не надо было! Он готов был отдать им последнее! Пся кровь!

Однажды в брежневские времена в писательском ресторане я крепко выпил с друзьями. К нам за столик вдруг подсел один ничтожный писателишка. Явно заметив, что я сильно пьян, он, потеряв контроль над собой от радости, что я потерял контроль над собой, не сводил с меня умоляющего взгляда в ожидании, что я скажу. Я всей шкурой почувствовал, что он стукач. Впоследствии так и оказалось.

Мне решительно нечего было сказать. А он, явно понимая мою сущность, с жадным сладострастием ожидал, что я эту сущность выражу в нескольких фразах.

Я этого не только не хотел, но и не умел, а он ждал, ждал, ждал, как ждут козырную карту. Я для них тогда был загадкой. Но что сказать? Так, либеральная болтовня. За половиной столиков в ресторане занимались этим. Но он продолжал умолять меня своим взглядом: сейчас – или никогда, карьера висит на волоске!

Я знал, что я этого не могу, даже если бы захотел. И потому продолжал пить.

В том числе и с ним.

Видел сон, как будто я после купания в море надеваю ботинок. Почему ботинок в купальный сезон? Я не думаю об этом. На мокрую ногу ботинок трудно влезает, я натягиваю его, он сопротивляется, огорчаюсь своей неловкости. К тому же, озираясь, не вижу второго ботинка. Куда он делся? Нельзя же в одном ботинке идти.

Просыпаюсь. Вспоминаю свой сон. За окнами холодная, зимняя Москва. В этот же день, выходя из троллейбуса, решил закурить. Вынимаю из пальто сигареты, зажигалку, закуриваю.

Покурив, чувствую, что голые руки озябли. Лезу в карман за перчатками. Одной перчатки нет. Огорченный, поворачиваю назад, надеясь, что, может, уронил перчатку, когда доставал сигареты. Одновременно вспоминаю свой сон и никак не припомню, нашел ли я тогда второй ботинок.

Прохожу метров пятьдесят до остановки троллейбуса. В самом деле, перчатка валяется там. Радуюсь своей догадливости (понял, где искать) и тому, что ее никто не подобрал. Надеваю перчатки и снова вспоминаю свой сон.

Кажется, что сон предупреждал о надвигающемся дневном событии, только получилась какая-то путаница в моем мозгу или в самой мистике сна: ботинок спутал с перчаткой. Или Там верхние и нижние конечности проходят по одной категории? Или бог сна со сна ботинок спутал с перчаткой? Однако, какая мелочность! Подумаешь, чуть не потерял перчатку! Во сне все было гораздо значительней и неприятней, особенно та неловкость, с которой нога входила в ботинок. Это была моя неловкость в обращении с жизнью, неумение к ней приспособиться. Вернее, слабое умение. Ботинок все-таки надел.

Евреи особенно любят поговорить на половую тему. Бессознательное отвлечение собеседников от антисемитизма.

За многие годы впервые ходил босыми ногами по траве. Щекочущее, слегка колющее, приятное прикосновение травы к ставшим девственными подошвам ног.

Все это напоминало далекое первое прикосновение к женщине в далекой юношеской постели. А впереди зеленый шелковистый холм. Ходи себе, гуляй вдосталь! Всю жизнь перегуляешь за несколько часов!

Солнечный, морозный день. Озаренные солнцем, книги на полках разноцветно вспыхнули! Сияние мысли навстречу сияющему солнцу. Весело!

Храбрость – разгоряченность человека до степени равнодушия к своей жизни или охлажденность его до этой же степени.

Ни один самый великий мастер не может скрыть, что в том или ином стихотворении или прозаической странице его покинуло вдохновение. Хотя сам он этого мог не заметить. Скрыть отсутствие вдохновения невозможно.

Достоинство человека в кандалах – не размахивать руками.

Настоящий читатель – это не тот, кто прочел книгу, а тот, кто возвращается к ней. Но для этого и книга должна быть настоящей. Классика – это принципиальная неисчерпаемость книги.

Интеллигентному человеку кажется, что бритва тоже комплексует.

Умер на посту. Так и похоронили с недописанным доносом на груди.

Маленький, динамичный ум. Динамичный, потому что маленький.

В молодости пьют, чтобы почувствовать себя старше своих лет. В старости пьют, чтобы почувствовать себя молодыми.

Новые времена. В аэропорту стоял в очереди к пограничному контролю. Как всегда, волновался. Вечно к чему-нибудь придерутся: то неправильно заполнил декларацию, то почему столько книг в чемодане и тому подобное. Очередь двигалась. Я подхватывал свои чемоданы, а потом, когда очередь останавливалась, от волнения забывал их поставить на пол. Впереди меня стоял какой-то молодой иностранец с большим рюкзаком у ног. Он лениво жевал жвачку и по мере продвижения очереди ногой подпихивал вперед свой рюкзак. Ногой подпихивал рюкзак! Эпос свободы! Вот это свободный человек, подумал я, и ничего тут не поделаешь!

Чтоб тупости ее разжать замок,

Он так кричал, что дребезжали стекла!

Но ничего ей доказать не мог.

Зачем же, Гамлет, ты связался с Феклой?

Когда я спросил, кому посвящено это четверостишие, он, по-моему, смутился и ответил, что не помнит. Неужели Глухой?! Бедная Ася, если это она!

Душа, в которой конь не валялся, но ослы бегали вперегонки.

Невозможно представить, чтобы Лев Толстой и Федор Достоевский могли дружить, хотя жили в одну эпоху и возвышались над всеми. Представить их дружбу – все равно что представить, что два действующих вулкана, продолжая действовать, договорились бы об условиях всемирной тишины.

Хорошо, что восстанавливают храм Христа Спасителя. Но надо было бы его назвать храмом памяти храма Христа Спасителя. Но этого никто не собирается делать. А надо внушать народу мысль, что святыни невосстановимы, чтобы он испытывал священный ужас перед мыслью разрушить их. Через сто лет только специалисты будут знать, что храм был разрушен, а потом его восстановили. А надо, чтобы народ всегда это помнил.

Говорят, Хлебников – гениальный поэт. Сомневаюсь. У Хлебникова есть прекрасные строчки. Иногда строфы. Но у него нет почти ни одного законченного прекрасного стихотворения. В чем дело? Он в стихах не может создать эмоциональный сюжет. Стихи – или сразу удар! – и постепенно звук затихает. Или чаще всего постепенно накопляется определенное настроение и взрыв в последних строчках. У Хлебникова – ни того, ни другого. Следствие его неполной нормальности. У него прекрасная строчка всегда в случайном месте случайно прихваченная словесным потоком. Но «Зверинец» – гениален! Тут звериная клетка стала формой, не дающей поэту растекаться.

Отгоняю от себя все виды жизни, чтобы не мешали думать о них. Если смогу создать для них корм – сами прибегут, как куры.

В Хьюстоне перед великолепным университетом памятник человеку, финансовая помощь которого помогла создать университет, и до сих пор его деньги поддерживают этот храм науки.

Организатор университета прожил восемьдесят пять лет и умер оттого, что, сговорившись между собой, его отравили любовница и дворецкий. Они отравили его, зная, что он собирается вложить свои деньги в строительство университета. Надеялись, что деньги достанутся им.

Однако они не учли, что он своими планами поделился с другом. Друг заподозрил злодейство, обратился в суд, отравление было доказано, любовница и дворецкий получили по заслугам.

Возникает невольный вопрос: зачем восьмидесятипятилетнему человеку любовница? Скорее всего, она раньше с ним жила и достаточно давно перестала быть его любовницей и стала любовницей дворецкого. Но как горделиво звучит: в восемьдесят пять лет был отравлен любовницей! Может, потому что грозился в девяносто завести новую!

Картина юности в Астрахани. Перед лестницей, ведущей на второй этаж, стоит билетерша. Наверху танцы. Молодежь, показав билеты, весело подымается к музыке.

Хулиган несколько раз пытался прошмыгнуть мимо билетерши, но она его останавливала и отталкивала. Наконец она зазевалась, и он проскочил мимо нее.

– Назад! Назад! – кричала билетерша, спохватившись, но он ее не слушал, зная, что она не решится покинуть свой пост.

Но как раз в это время, на его беду, сверху по лестнице стал спускаться директор клуба.

– Не пускай его! Он без билета! – крикнула билетерша директору.

И тут хулиган заметался на месте, не зная, что ему делать. А молодежь весело проходит мимо него. Через три-четыре секунды директор клуба окажется рядом.

Хулиган лихорадочно ищет решения, как эти последние секунды нахождения в запретной зоне использовать. И находит! Он смачно плюет на спину проходящей мимо девушки. Сорвал удовольствие! После этого спокойно идет вниз, как бы говоря: на большее я и не рассчитывал.

Много лет назад рассказывал мой родственник.

Вдруг стук в дверь на рассвете. Думаю: кого это несет в такую рань? Открываю дверь. Стоит высокий молодой человек в военной форме. Это был мой племянник, я его еле узнал! Но как страшно он изменился!

– Проходи! Какими судьбами?

– Я из Афганистана! Привез гробы солдат.

Позже за завтраком он мне много рассказал об афганской войне. Вот одна из его историй.

У нас было задание: с двух сторон подойти к кишлаку, где, по нашим сведениям, было много духов, окружить его и уничтожить их.

Наш отряд шел низиной, а другой – через горы. Строго рассчитали, что через шесть часов встречаемся в районе кишлака, окружаем его и уничтожаем врага.

И мы пошли. Идем, идем, идем, а кишлака не видно. Идем с предельной скоростью. Проходит шесть, семь, восемь, девять часов. Наконец вышли к кишлаку. Отряд, с которым мы там должны были соединиться, весь перебит, а кишлак пустой. Духи вместе с женщинами, детьми, стариками, скотом куда-то ушли.

Командира нашего арестовали за невыполнение приказа, судили, но судьи из Москвы оказались честными людьми. Они на практике убедились, что по нашей дороге за шесть часов дойти до кишлака было никак нельзя. В чем дело?

Оказывается, мы воевали с неграмотными картами. Командира нашего отпустили.

…Вспоминая об этом рассказе, думаю: а были ли у наших командиров в Чечне грамотные карты?

В животном мире самцы бешено бьются за самку. При этом самка, чаще всего пощипывая траву, спокойно дожидается победителя. Насколько я знаю, только в человеческом мире женщины могут враждовать за обладание тем или иным мужчиной. Идея равенства. Чем цивилизованней народ, тем чаще женщины активны. Возможно, при полной победе феминизма женщины будут яростно сражаться за мужчину, а мужчина в это время будет сидеть в сторонке и покуривать.

Если начальник шутит, хохочи – хохоча, взойдешь.

У человека в сумке яблоки. Мы попросили у него одно яблоко. Он нам дал одно яблоко. Но из искренней ли доброты он это сделал, трудно судить: он это мог сделать из приличия или других соображений. Но если на просьбу дать одно яблоко он нам протягивает два, то тут второе яблоко как бы свидетельствует об искренности дара и первого яблока. Щедрость – наиболее убедительный признак искренности. Точно так же, если человек на просьбу дать яблоко достал бы из сумки одно яблоко и, разрезав его пополам, дал нам пол-яблока, ясно было бы, что он очень неохотно расстается со своим даром. В искусстве высшим доказательством искренности тоже является щедрость. Пушкин на просьбу дать одно яблоко с хохотом сыплет из сумки яблоки, особенно в подол женщины.

Щедрость в искусстве порождает искренность, искренность порождает обаяние автора. Щедрость и есть причина обаяния автора.

Иногда от долгого пьянства казалось, что эта рыхлая глыба отчаянья вот-вот рухнет. И ему уже ничем нельзя помочь. Было жалко его до безумия. Но ему всегда приходило на помощь вдохновение. Оно иногда длилось месяц, полтора, и в это время он испытывал отвращение к алкоголю и капли не брал в рот.

В такие времена он становился сильным, ясным и по-своему подтянутым. Именно таким я его однажды встретил.

– Написал лучшие стихи в русской поэзии о первой любви! – закричал он. – Если это не так, вот тебе крест, я их порву и выброшу!

И он мне прочел их.

\_БАЛЛАДА\_О\_ПЕРВОЙ\_ЛЮБВИ\_

После похвальных трудов,

Или законченной песни,

Или наломанных дров

Только рассядешься в кресле,

Хлопает смерть по плечу

И призывает к ответу.

– Несправедливо, – кричу, -

Дай докурить сигарету.

Вновь припадает к плечу,

Как парикмахер за стулом.

– Та, что любила, – шепчу, -

Только снежинку смигнула.

Только смигнула – и нет.

Господи, это ли мало!

В сессию, помнишь, студент,

Ночки одной не хватало.

В библиотеке вдвоем.

В книгу глаза опустила.

Пальцев борьба под столом.

Страсть или знание – сила?

День этот давний любя,

В ночь погружается тело.

Та, что любила тебя,

Слово сказать не успела.

Та, что любила, во сне

Свитер под лампой не вяжет,

Словно из космоса мне

Все еще варежкой машет.

Впрочем, не надобно слез,

Даром ломаются копья.

Если об этом всерьез,

Как не поверить в загробье?

Жить – это значит потом Думать.

Сие непреложно.

Жизнью наполненным ртом

Мямлить о ней невозможно.

Вот и полярная ночь.

Времени много, полярник,

Мыслию мрак превозмочь,

Коль не зарежет напарник!

Вот и полярная ночь!

Для новобрачных удобно

Ласкою лед протолочь,

Долго любить и подробно.

Что нам Большая земля

Или большие обиды?

Мы позабыли не зря,

Мы окончательно квиты.

К морю родному домой

Нас никогда не потянет.

Только из пены морской

Сын мой стремительно глянет!

Милая, счастия нет.

Разве что, нежно расслабясь,

Пылкий, патлатый студент

Будет бубнить эту запись

В библиотеке. Вдвоем.

Помнишь с верандою зальчик?

Пальцы сплелись под столом.

Крепче держи ее, мальчик!

– Это стихи о моей землячке. Мы с ней вместе учились в Москве. Я надеюсь, ты понял, что сын не от нее. У нас с ней ничего не было.

– Да, конечно, – сказал я, – пожалуй, про сына самые сильные строчки. А где он?

– Он сейчас в Америке, – был сумрачный ответ, – моя бывшая жена вышла замуж и уехала туда.

Конечно, я ему не мог дать право разорвать эти стихи, если бы он в самом деле был готов исполнить свою угрозу.

Если художник, стремясь к беспредельному совершенству своего произведения, подсознательно не надеется, что с достижением этого совершенства начнется кристаллизация гармонии в мире, начнется спасение мира, значит, это не художник!

В гостинице. Случайно задев рукой, сбросил с тумбочки хрусталеобразный стакан, из которого собирался запить снотворное. Обычный стакан или остался бы цел, или раскололся бы на несколько кусков. Этот разбился вдребезги на сотню маленьких осколков. Казалось, идею разбиться вдребезги он радостно нес в себе и радостно ждал своего часа. Мистика, но таков материал, из которого он сделан.

И вдруг я догадался, что вся наша цивилизация такая же хрупкая и так же радостно разлетится на тысячи осколков при малейшем толчке. Таков материал, из которого она сделана.

Поэзия прочности сильнее, чем у всех писателей мира, выражена у Льва Толстого. Вот что надо бесконечно развивать в искусстве!

Мыслящий человек, не сумев воспитать собственного сына, без всякого смущения продолжал воспитывать человечество. Когда ему указали на это противоречие, он, пожав плечами, ответил:

– Ничего не попишешь! Привычка иметь дело с большими величинами!

Человек зачат в ярости сладострастия. Если, как утверждают атеисты, природа сама создала живую материю, можно представить извержение грандиозного вулкана, как половой акт.

Но нет доказательств, что неживая материя могла забеременеть жизнью. Чтобы забеременеть жизнью, неживая материя, как женщина, уже заранее должна нести в себе идею жизни. А откуда ей взять эту идею жизни? Вот гранитная глыба.

Она стоит миллионы лет. Представить, что она идею жизни несет в себе, так же нелепо, как представить, что она несет в себе идею стать ласточкой. Идея жизни привнесена Богом. А зачем? Нам не дано знать.

Этот поэт претендует на роль Гамлета, но ужас заключается в том, что гамлетовский текст он сам себе пишет.

Я так туп в живописи, что понимаю только великие картины.

Подобно тому, как мы совершенно ясно сознаем, что ребенок не может стать разумным человеком без первоначального толчка взрослого человека, без родительства, подобно этому немыслимо, чтобы первичный человек-ребенок не имел этого первоначального толчка, родительства. Он, конечно, имел этот первоначальный толчок, и родителем ему был Бог, поскольку никого другого не было. Опыт? Но прежде чем воспользоваться опытом, нужен разум, диктующий нам мысль воспользоваться им. Однако современные дикари, которых иногда показывают по телевизору, смущают. Пожирают людей. Неужели Бог к ним прикасался? А если не прикасался, то почему?

Западный человек ближе к полицейскому мышлению, чем русский человек. Именно поэтому русское общество больше нуждается в полиции и больше ее производит.

Но именно поэтому же полиция у него плохая. Нет дара полицейского мышления, и полиция не чувствует границы данного ей законом насилия.

Я однажды сказал ему:

– Странное дело. У меня почему-то путаются в голове все эти родственные обозначения: свахи, свояки, девери… Смешно, но не могу запомнить.

– Это потому, что ты с детства не слышал их, – ответил он мне, – но я тебе помогу.

– Как?

– Вот увидишь! – озорно улыбнулся он.

И в самом деле, через три дня он принес мне целую поэму, посвященную этому.

Урок русского языка

– Что такое, братцы, шурин?

– Брат жены, запомни, дурень!

– А золовка – это кто?

– Вот башка, что решето…

Мужнина сестра – золовка…

Где с водярой упаковка?

Мы ж сюда не с ночевой

– Кто поближе там, открой!

– Деверь, деверь, как понять?

– Мужнин брат, ядрена мать!

Ну, разжамкал, кто они?

Сухота. Где стаканы?

– Что такое свояки?

– Закусь, закусь, мужики!

– Холодец забыл в пальто.

– Для начала грамм по сто!

– Что такое свояки?

– Дай ему, мне не с руки!

– Свояки – мужья сестер.

Не допер или допер?

Две подушки, две сестры.

То-то вылупил шары!

– Видно, наш салам алейкум

Рвется в русскую семейку!

– Отметелим кулаками -

После будем кунаками!

– Что за шум, а драки нету?

Помни русскую примету:

Кум болтает наобум,

А кума – бери на ум.

– На Востоке наших баб

Любят. Тут один араб

Взял соседку. Воблой вобла.

Пир – горой. Гуднула шобла!

Пишет письма из Алжира.

Потолстела от инжира.

Климат вроде как в Одессе.

При чадре, но в «мерседесе».

Но однажды – пых, как порох!

Навела в гареме шорох.

Разогнала восемь жен,

Каждой выдав пенсион.

И засела за Коран.

Муж притих, как таракан…

– Ша! Забулькали еще.

Хорошеет. Хорошо!

– Что такое, братцы, сват?

– Ухайдакал азиат!

– Что такое, братцы, братцы!

– Нам с тобой не вековаться!

Развопился, словно выпь,

Убирайся или выпь!

Мы, конечно, сели выпить по этому случаю. Смешно, но двусмысленно прозвучали строки:

Отметелим кулаками,

После будем кунаками.

Тогда шла чеченская война, и было совершенно не ясно, кто кого отметелил.

– Ты будешь смеяться, – сказал я шутливо, – но мне и теперь непонятно, кто такой сват. Тем более, что в стихах ты оборвал этот вопрос.

– Сват – это тот, кто идет сватать невесту по поручению жениха или его родителей. Считай, что ты пять раз был моим сватом – и все неудачно. А потом привез Глухую. Ура! Выпьем за нее!

Вот стихи, написанные в год смерти его матери. Весь этот год он прожил в полном одиночестве. Так он сказал.

Я ничего не боюсь

Даже при слове: крах.

Только порой взорвусь,

Путаясь в черновиках.

Я ничего не боюсь,

Ибо боюсь пустоты.

Прожитой жизни груз

Выломал все мосты.

Чую ногами дно.

Крепко стою теперь.

Я потерял давно

Даже список потерь.

Нежен запах айвы.

Сладок запах детей.

Вспомню людей, увы,

Каждый второй – лакей.

Чуден родной простор.

Через овраги и рвы

Скачет во весь опор

Всадник без головы.

Чтобы его поймать,

Не щадя головы

Рвется навстречу рать,

Тоже без головы.

Ты говоришь: – Мираж,

Лучше протри виски. -

Я говорю: – Пейзаж

Или его куски.

Впрочем, напрасен труд.

Сам же теряю нить,

Ибо в комнате тут

Не с кем поговорить.

Воз и поныне там,

Где призадумалась плеть.

Каждый решает сам,

Жалить или жалеть.

Я ничего не боюсь.

Это приятно знать.

Даже змеиный укус

Брезгую отсосать.

Призраками пустынь

Стыдно страшиться мне.

Вместо любых святынь -

Мамин портрет на стене.

Это ее плечо,

Как там ни назови,

Держит меня еще

Силой своей любви.

Чувствую горячо:

Руки ее в мольбе

Держат меня еще

И не пускают к себе.

Не уверен, что это стихотворение написано в трезвом виде.

\_ПРИВИДЕНЬЕ\_

Увидев привиденье,

Сказал я: – Ну и что? -

Взглянувши на него.

Краснея от смущенья,

Забыв надеть пальто,

Исчезло привиденье,

Ответив: – Ничего!

Когда ко мне приходит вдохновение, прервав любую выпивку, я месяц или полтора работаю над стихами. Мне даже противно думать о выпивке. Но вот я иссяк, а вдохновение продолжается. Я чувствую, что могу впасть в безумие. И тогда выпивкой я гашу пожар вдохновения. Таким образом, вдохновение спасает от излишка выпивки, а выпивка спасает от излишка вдохновения. Но не грех ли?

Вдохновение – дар свыше. С другой стороны, безумия боялся даже Пушкин.

Новые времена. В Крыму на рынке подошли к продавцу арбузов. Двое молодых парней в шортах и в майках с могучими, отовсюду выпирающими мускулами выбирали себе арбуз. Я все видел и слышал, но думал о чем-то своем.

У продавца был какой-то растерянный вид. Он кивнул на вторую кучу арбузов, побитых в дороге.

– Вон сколько испортилось, – сказал он, в чем-то оправдываясь.

Парни уже выбрали арбуз. Продавец дал одному из них какие-то деньги. Я думал

– сдача.

– А что я скажу, если другие придут? – обратился к ним продавец.

– Скажи – Эдик уже был здесь, – ответил один из них, и они ушли.

Я и тут ни о чем не догадался. Мы купили арбуз и пошли к себе.

– Как обнаглели рэкетиры, – сказала жена на обратном пути.

Тут только я понял смысл увиденной картины. Поразила ее будничность. Средь бела дня на рынке спокойная обираловка. И унылая уверенность продавца, что защиты нет и не будет.

В саду Дома творчества шныряют машины. Раньше им въезд сюда был запрещен.

Одна из них чуть не наехала на меня. Владелец машины притормозил, высунулся из окна и, кивнув на ресторан, гостеприимно сказал:

– Приглашаю на ужин в восемь вечера. Вместе с вашей спутницей, не знаю, кто она вам.

И поехал дальше.

То, что он не понял, что я с женой, почему-то охлестнуло чудовищным оскорблением. Мол, там, в ресторане, он выяснит, кто она мне. Редкостный сукин сын, редкостный!

В тот же день на пляже. Направо от меня шагах в пяти устроились двое: мужчина средних лет и молоденькая женщина. Видимо с похмелья, они время от времени лениво потягивали шампанское из одной бутылки. Молоденькая женщина, не стесняясь того, что на пляже много купальщиков, в том числе детей и подростков, была без лифчика, в одних трусах. Глаза ее, как и молодые крепкие груди, слегка косили. Можно сказать, что она четырьмя глазами оглядывала пляж.

– Сегодня вечером не пойдем в ресторан, – благостно сказал мужчина, потягивая шампанское, – съедим на берегу шашлычки…

– Нет, пойдем! – безжалостно перебила она, и он замолк. Косящие глаза и косящие груди продолжали исследовать пляж.

Все люди связаны универсальным стремлением к наслаждению. Если в исключительных случаях человек ненавидит наслаждение, он наслаждается своей ненавистью к наслаждению.

Но в обычной жизни один человек, скажем, получает наслаждение от чтения Евангелия, а другой получает наслаждение, пропустив рюмку водки и зажевав ее пупырчатым соленым огурчиком. Конечно, ценность наслаждения первого гораздо выше, чем ценность наслаждения второго. Но не надо преувеличивать примитивность наслаждения второго. Иногда он вправе сказать первому:

– Отложи Евангелие! Выпей с нами рюмку и захрусти ее этим пупырчатым огурчиком. Что, не хочется? Совсем? И ничего подобного?! И никогда?! И ни при каких обстоятельствах?! Тогда тебе и Евангелие ни к чему!

Моя покойная мама говорила:

– Человек, который украл, грешен перед тем человеком, у которого украл.

Человек, у которого украли, подозревая многих невинных в воровстве, грешен перед многими.

Это стихотворение тоже написано в год смерти матери. Карабкающееся по обрыву отчаянье с удивительными ужимками юмора. Будем надеяться, что детская улыбка спасает. Может быть, затянуто? Но и тема нешуточная.

\_РАЗГОВОР\_С\_ЖИЗНЬЮ\_

Дай отойти на три шага!

Жизнь, ты такая, ты сякая,

Течешь, сквозь пальцы протекая,

Придурковатая слегка.

Дай отойти на три шага!

Путана, путаница, стерва,

Шалавая, в который раз

То дергаешь за кончик нерва,

То тычешь в ухо или в глаз.

Я, кажется, дошел до точки.

Кричу в упор:

– Прочь, твои клейкие листочки

И прочий вздор!

От ран твоих себя врачуя,

Хочу узреть твои черты.

Со стороны взглянуть хочу я -

Какая ты.

Людским страданиям не внемля,

Течешь как есть.

Но кто плеснул на эту Землю

Тебя? Бог весть.

Что Бог? Вместить его обиду

Не может наша голова.

Он потерял людей из виду,

Но мы его сперва.

И если человеку зелье

Служило много тысяч лет,

То, значит, в уровне веселья

Самодостаточности нет.

Чем может нас твоя обуза

Смягчить, привлечь?

Увы, в жару ломоть арбуза,

А в холод женщина как печь.

Без тяжести твоей и речи

Мы слышать не хотим ничьей.

А кто взвалил тебя на плечи,

Тому, боюсь, не до речей.

Мысль о тебе всегда ошибка,

Поскольку ты ее суфлер.

Нас ожидает или сшибка,

Или смирения позор.

Ты шепчешь: – Силе будь покорен,

Подальше от грызни… -

Все так. Но страшен общий корень

У казни и казны.

Мысль о тебе трепещет зыбко.

Хвать! Но монетой – в щель.

И только детская улыбка -

Намек на цель.

Тот же год. Видимо, вышел из отчаянья и поспешил упрекнуть нас в недостатке веры и мужества.

Вся земля, как тяжелый паром,

Повернулася трудно.

Безобразные крики ворон

Обозначили утро.

Новый день, новый свет из окон

Льется, льется – неясный.

Но скрипучие крики ворон

На рассвете опасны.

Безобразные крики ворон

Сам я вырву и выскоблю слухом.

Но любители правды: – Вор он! -

После вымолвят глухо.

Этот день обернулся, как стон,

Не охватишь умишком.

…В безобразные крики ворон

Вы поверили слишком!

Все эти стихи не вошли в его позже изданные книги, и потому я их здесь помещаю. Думаю, по свойственной ему неряшливости он о них забыл. А может, они недостаточно четко выражали его мысль: энергия стиха и никаких идей!

Сложен вопрос, но я все-таки склонен считать, что художнику в зрелом возрасте надо стараться избегать эпилогических мотивов. Молодых бездарных поэтов не читаю вообще. Читаю стареющих талантливых поэтов – и испытываю смущение. Как будто в больничной палате больные репетируют похоронный марш.

Да, надо безжалостно стараться знать о смерти все, что может знать живой человек, но избегать мотивов угасания. Сам грешу. Но в высочайшем смысле эти мотивы бестактны.

Бывало в истории, что того или иного хорошего художника при жизни не признавали, признание приходило после его смерти. Но никогда и нигде не бывало, чтобы тот или иной художник создал свой шедевр не при жизни.

Следовательно, все главное происходит при жизни, из которой сам художник случайно выпал, но жизнь продолжается. Та самая жизнь, в которой и был создан шедевр.

И при чем тут время признания? Если художник слишком озабочен временем признания, то он в иных случаях может его добиться, но не может одновременно создать шедевр. Первоначальным толчком может быть страстное желание быть признанным. Но сильная вещь получается только тогда, когда художник в процессе работы забывает обо всем на свете, кроме желания следовать художественной правде. В могучих произведениях искусства всегда проглядывает величавая особенность: равнодушие к нашему признанию. По равнодушию к нашему признанию, которое оно спокойно излучает, мы подсознательно и угадываем шедевр. Дело рук человека приобретает свойство природы: красивое дерево, гора, море равнодушны к нашему признанию.

Российский человек (независимо от национальности) не потому глуп, что глуп, а потому глуп, что не уважает разум.

Русский человек силен этическим порывом и слаб в исполнении этических законов. Могучий этический порыв, может быть, – следствие ужаса при виде этического беззакония. Результаты всего этого? Великая литература и ничтожная государственность.

Бродский в своей Нобелевской речи наряду с замечательными мыслями высказывает крайне наивную вещь. Он говорит, что эстетическое восприятие мира человеком старше этического. Ребенок начинает воспринимать мир сначала эстетически.

Все наоборот. Ребенок начинает улыбаться прежде всего матери и тянется к ней ручонками, как к источнику добра. Это совершенно очевидно. И уже позже источник добра воспринимается ребенком как источник красоты.

Известный анекдот. Ребенок, потерявший в толпе маму, называет как главный признак ее – самая красивая.

Тут нет никакого противоречия с тем, что я утверждаю. Это уже достаточно разумный ребенок, и он догадывается, что по признаку «самая добрая» его не поймут. Он сознает, что этот признак не наглядный. И он называет, как ему кажется, наглядный признак – самая красивая.

Первичность добра отражена и в самом языке: добро, добротно, то есть хорошо, то есть красиво.

Более позднее расщепление в сознании человека этики и эстетики – признак трагического падения человека.

Но и сейчас нравственно здоровый человек, глядя на изысканно окрашенную змею, не чувствует ее красоту, а чувствует отвращение к ее узорчатой красивости. Он воспринимает ее красивость как отвратительную маскировку зла.

Глаза как бы и видят ее красоту, но душа отказывается воспринимать ее таковой. И человек глазами души переокрашивает змею в ее зловещую сущность: подтягивает эстетику до этики.

Добро первично, и потому роза красивая. Если бы добро не было первично, мы бы не поняли, что роза красивая. Эстетика – дитя этики. Дитя, иногда восстающее против родителей.

У Бродского – самое бесстрашное и потому самое страшное описание смерти в русской поэзии. Возможно, это навязчивое видение смерти у человека с хронически больным сердцем. С ледяным мужеством он вглядывается в смерть.

Пожалуй, именно это внушает ужас.

Здесь по тому, что скисло молоко,

молочник первым узнает о вашей смерти1.

Ночью в гостинице:

Смерть – это та же тьма, только глаз, к ней привыкнув, не различает стула2.

У него постоянно холод смерти, космическая стужа проникает в жизнь и жизнь очень часто мало отличается от смерти. Как далеко от этого горячее отчаянье Есенина:

В зеленый вечер под окном

На рукаве своем повешусь.

Все внутри жизни! Даже самоубийство! У Бродского все внутри смерти – даже жизнь!

Многие стихи Бродского покоряют обаянием ума, могучими образами, мрачным юмором. Но некоторые вызывают отчуждение и неприязнь. Кажется, так может думать только инопланетянин. Но это не вызывает никакого любопытства, хочется оттолкнуться, быть от них подальше. Нечеловеческое.

Если глупость влетает тебе в одно ухо, подставь второе. Что легче подставить – вторую щеку или второе ухо? Еще вопрос.

Познакомился со своим земляком-бизнесменом. Высокий, сухощавый, в стильных очках. Похож на преподавателя вуза. Сейчас живет в Париже. Объясняет это тем, что Париж в центре Европы, откуда проще ездить по всем европейским городам, с которыми связан его бизнес.

Очень богат. Все нажил сам, без всякой помощи со стороны. Образование – всего десять классов, но производит впечатление блестящего интеллигента.

Достаточно свободно говорит по-французски, но дела ведет только на английском языке, который, видимо, знает в совершенстве. Неправильно понятый оттенок слова, говорит он, может вызвать большие деловые неприятности.

Репутация многих богатых людей, по его наблюдениям, часто оказывается фикцией: все знают об их виллах, машинах, предприятиях, но никто не знает об их долгах. Однажды это становится ясным. Иногда после смерти.

Рассказал о шутке в кругу французских друзей. Он посадил на стул посреди комнаты негритянского бизнесмена, вероятно как человека, который может судить о всех белых объективно.

– Какая нация хуже всех остальных? – спросил он у него.

Негр подумал, подумал и ответил:

– Французы.

Французские друзья дружным хохотом встретили это сообщение. Тогда он у него спросил:

– Но кто хуже: немцы или французы?

Негр подумал, подумал и сказал:

– Французы.

Тут французы протестующе завыли: хуже всех – они согласны, но хуже немцев – никогда. Конечно, все это шутка, но у каждого народа свои немцы и даже свои евреи.

Он блестящий самоучка. Прекрасно разбирается в литературе. Меня обрадовало совпадение наших взглядов. Он, как и я, считает Льва Толстого самым великим писателем планеты.

Зашла речь о «Хаджи-Мурате». Говорили о знаменитой сцене, где Хаджи-Мурат рассказывает о том, как он однажды струсил и с тех пор, вспоминая об этом случае, уже никогда ничего не боялся. К моему удивлению, бизнесмен всех героев этой сцены и предыдущих событий назвал по именам. Видно, великолепная память.

Несколько лет назад он обменивал свою квартиру в Москве. Дал объявление.

Какой-то человек позвонил и сказал, что хочет посмотреть ее. Хозяин был дома с представителем квартирного агентства, когда явился этот человек. Внезапно этот человек распахнул портфель, вынул из него гранату и закричал:

– Ложитесь на пол! Мне нечего терять! Всех взорву!

Представитель агентства забился в угол, а хозяин квартиры стал подходить к человеку с гранатой, который стоял в каком-то квартирном закутке. Лицо его выражало невероятное отчаяние и злобу.

Бизнесмен подходил к нему, чтобы наброситься на него и обезоружить. При этом он говорил:

– Не делайте глупостей! Если у вас материальные затруднения, я вам помогу.

Говорил он это искренно или старался выиграть время, по интонации его рассказа трудно было понять, а переспросить было неловко. Скорее всего, тогда у него в голове лихорадочно взвешивались оба варианта.

Но, видимо, нервы у человека с гранатой не выдержали. После того, как он несколько раз приказал ложиться и ему не подчинились, он кинул гранату!

Граната взорвалась, но никого не задела. Бросивший гранату кинулся бежать.

Бизнесмен – за ним. На каком-то лестничном марше бегущий обернулся, вынул вторую гранату из портфеля и швырнул в него. Граната перелетела через него, а так как он бежал вниз, осколки опять не задели его. Однако этому человеку удалось убежать. Потом – переполох, милиция. Портфель свой человек этот бросил. В нем оказалась только клейкая лента, которой он, видимо, собирался опутать тех, кто ляжет на пол.

Храбрости его подивились и милиционеры. Об этой истории я слышал еще до того, как познакомился с ним. Он добавил, что читал в газете: где-то на Украине бывший офицер взорвал гранатой себя и свою семью. Он подозревает, что это был тот же человек.

Бизнесмену сейчас сорок пять лет. Он рассказал, что в тридцать один год был страстно влюблен в одну женщину, у них был сказочный роман. Это было еще в России. Однажды приехал из командировки домой – ни любимой женщины, ни вещей, вся квартира очищена.

Возможно, потрясенный этим случаем, он до сих пор не женат, хотя, конечно, монахом не стал. Со смехом рассказал, что все мужчины, услышав от него эту историю, неизменно говорили одно и то же:

– Вот блядь!

И все женщины неизменно говорили одно и то же:

– А что она взяла?

Получил огромное удовольствие от знакомства с ним. Кстати, он высказал интересную мысль. Иногда, сказал он, очень сильный ум мешает быстроте и точности принятия деловых решений.

– Почему? – спросил я. – Слишком много ассоциаций?

– Нет, – ответил он и сравнил такой ум с чрезвычайной развитостью мускулатуры у культуриста, что делает его менее ловким и подвижным.

Маяковский по натуре был игроком. И в жизни он постоянно играл во все игры.

Думаю, что игра отвлекала его от невыносимой тяжести трагического сознания, данного ему природой.

После революции он включился в игру «строительство социализма». Как он, с его огромным природным, к сожалению только природным, умом мог поверить этим людям?

Образование Маяковского. Главных поэтов России он знал прекрасно. Сильно сомневаюсь, что он знал прозу. Жуткая картина. Маяковский бреется, а Брик в это время ему зачитывает что-то. Образовывает его.

Среди причин, смягчающих облик большевиков, мы часто забываем главную. Это грандиозное преступление всех буржуазных стран – Первая мировая война с миллионами смертей, неслыханными до этого. У большевиков нет и не было никакой вины за это преступление. И они утверждали: при нас это будет невозможно.

Он поверил им, как великий игрок – ставка жизнь. Думаю, что он никогда в жизни не читал Ленина, хотя славил его до умопомрачения. Допустим, он раскрыл Ленина и часа два, что маловероятно при его темпераменте, читал его.

Что бы он сказал себе, отложив Ленина? Он сказал бы себе: видимо, это настолько гениально, что мне, необразованному человеку, кажется глупым. Надо верить в него, а не читать его!

И он верил. А как не поверить, когда ставка уже сделана – собственная жизнь.

Я буду последним рабом социализма, сказал он себе и служил социализму, как вдохновенный раб. Перевернутая гордость. Однако в тридцатом году он окончательно убедился: опыт с социализмом полностью провалился.

Ты был последним рабом социализма, а теперь станешь первым лакеем партии, шепнула ему судьба.

– Нет! – рявкнул он в ответ. – Я честный игрок!

И застрелился!

О, если бы вовремя кто-нибудь ему убедительно сказал:

– Поэт! Игрок! Играй во что хочешь, но никогда ни в какие игры – с государством! Здесь ты все проиграешь!

Легко сказать! В России с государством заигрывали и Пушкин, и Достоевский.

Государство всегда было слабоумным, как же им, людям с великим умом, с великой любовью к Родине, не поделиться этим умом со своим же государством?

Однако этот же ум подсказывал им осторожность: слишком далеко не заходить.

Они заигрывали, а он заигрался. Мероприятие – социализм – оказалось бесчестным, и он застрелился, как будто именно он его затеял.

Он совпал в одной части своего темперамента с большевиками:

– Крушить!

Грех немалый.

Но он не заметил, что большевикам отродясь не свойственна другая часть его темперамента:

– Жалеть!

Редко кто умел так жалеть, как он: лошадь упала, упала лошадь… Это он упал. Пал.

Психологический признак кризиса государственности – это когда средний гражданин страны чувствует себя умней правительства.

Умный человек, но вызывает брезгливость. С ним неприятно иметь дело, как с умным пауком. Что характерно: при всем его уме, когда я в разговоре с ним коснулся тонких нравственных проблем, он глядел на меня бараньими глазами, ничего не понимая. Технологический ум, и когда речь идет о культуре, он хорошо разбирается в ее технологической части.

Чем больше Бога, тем меньше полиции.

Поэт может быть каким угодно, но не может быть скользким.

Понятия «народ-богоносец», «народ-судьбоносец» долго и ревниво проповедовались русской интеллигенцией. Более трезвый, мужественный, критический подход ко многим явлениям народной жизни, выраженный у Чехова и Бунина, уже ничего не мог изменить. Правило хорошего тона интеллигенции – народ свят. Большевики неожиданно расщепили понятие «народ– судьбоносец», остался рабочий класс-судьбоносец. Слабое теоретическое и даже политическое сопротивление большевикам вызвано стыдливой традицией: нельзя критиковать что-либо, идущее от народа. Как ни относились к большевикам, все-таки всегда верили, что они идут от народа. Когда опомнились, было уже поздно. Сам же народ даже отдаленно не подозревал, что он богоносец или судьбоносец. Но в той своей части, которая соприкасалась с интеллигенцией, он оказался беспредельно развратен. Он понял, что ему по какой-то ученой причине все прощается, и плюнул на свои вековые нравственные устои, которые все-таки у него были когда-то. Идеалист Маркс (тут Гегель, хоть и перевернутый) предложил материалистическое спасение мира, ибо ничего другого он не видел. Глубочайший атеизм Достоевского привел его к мысли, что там ничего нет, там действительно ничего нет, и он делает со дна грандиозный рывок к Богу. Парадокс. Маркс был недостаточным атеистом и потому не понял ошибочность атеизма. Считается, что самозванство в России процветало из-за доверчивости народа. Но откуда эта доверчивость? Самозванство – тайная мечта подавленного человека. Когда в человеке подавлена личность, в нем вырабатывается тоска по личине, которую будут уважать. Народ полусознательно был рад самозванству: фокус получился, мог быть и я. Теоретически говоря, лучшую статью о Моцарте после его смерти, даже если Моцарт умер своей смертью, должен был бы написать Сальери. Никто так не знает о достоинствах музыки Моцарта, как Сальери, потому что никого эти достоинства так не мучили, как его. Теперь, когда эти достоинства его больше никогда не будут мучить, он ему так благодарен, что скажет всю правду о них. Мысль – это то, что вносит ясность. Мысль, которая вносит темноту, это так же нелепо, как сказать: зажгли лампочку, и стало темно. Какая же это лампочка? Особенно у поэтов часто бывает: что-то забрезжило в голове – поспешил записать. Если то, что забрезжило, не вносит ясность, незачем это записывать. Никакое виртуозное рассуждение не может быть мыслью, если оно не вносит ясность. Никакая шахматная комбинация не может быть красивой, если она не учитывает ответных ходов противника. В двадцатом веке декадентское красноречие стали принимать за мысль. Ехали в машине. Попали в пробку. Стоим. Вижу, впереди нищенка – старуха, правда довольно бодрая, обходит стоящие машины и просит деньги. Безуспешно. У меня в голове мелькнула слабая жалость к ней, но я подумал, что неловко опускать стекло, незнакомому шоферу это может не понравиться. Но вдруг сам шофер говорит: «Надо дать денег старушке». Сам открывает окно и дает. И я следом дал ей деньги, и все остальные пассажиры. И было явно, что, если бы шофер не захотел дать ей деньги, скорее всего, никто не решился бы открыть окно. Цепная реакция добра. Но бывает и цепная реакция зла. Однажды в студенческие времена проходили практику в деревне. Вчетвером вскарабкались на стену давным-давно разрушенного монастыря. Только одна эта стена торчала. Самый старший из нас вдруг стал мочиться с этой стены вниз. За ним и остальные. Я был последним. Когда очередь дошла до меня, я почувствовал какой-то слабый укол совести, я почувствовал, что это нехорошо. Ни атеизма, ни религии тогда в душе моей не было. Душа заполнена была творческими мечтами. Тогда откуда этот слабый голос совести? Скорее всего, всосанное с молоком уважение к предкам. Но стыд перед товарищами, боязнь, что меня сочтут смешным чистоплюем, заставили меня сделать то же самое, что и они. С тех пор прошли десятки лет, и я со стыдом, еще до того, как стал задумываться о Боге, всю жизнь вспоминал этот поступок. Совершенно ясно, что, если бы я, рискуя быть осмеянным товарищами и даже будучи осмеянным ими, не последовал их примеру, на третий день я начисто забыл бы дискомфорт от этого стыда перед товарищами. А вот стыд, пусть и слабый, перед голосом совести, к которому я тогда не прислушался, до сих пор ношу в себе. Из этого ясно, что любой стыд перед людьми надо преодолеть, если ему противоречит голос совести, даже очень слабый. Глупому человеку в известных случаях можно разъяснить смысл умной шутки, и он рассмеется. Сделает шаг вперед. Умному человеку никак невозможно внушить, что глупая шутка смешна. Он никогда не рассмеется глупой шутке. Не может сделать шаг назад. Но эта же шутка или равная ей по уровню, высказанная младенцем, может вызвать искренний смех умного человека. В чем дело? Можно сказать, что ребенок из двух фигур, которые только и есть на его умственной шахматной доске, создал комбинацию, равную по сложности комбинации взрослого глупого человека, у которого умственная доска по нашему естественному предположению полна фигур, но он может пользоваться только двумя, как ребенок. Остальными фигурами он сам без нашей помощи не может пользоваться. Характерно, что умную шутку, которую в иных случаях можно разъяснить глупому человеку, ребенку невозможно разъяснить. У него просто в голове нет других фигур, кроме этих двух. Но шутка ребенка при его бедных возможностях – шаг вперед, и потому умный человек искренне смеется этой шутке. И когда ту же примитивную шутку придумывает взрослый человек, но при этом умственно поврежденный, и умный человек заранее это знает, он опять искренне смеется этой шутке, понимая, что взрослость данного человека – фикция, он младенец. Но ведь и глупая шутка глупого человека для него может быть шагом вперед? Почему же взрослый, умный человек, зная это, все-таки не смеется? Теоретически действительно для глупого человека это может быть шагом вперед. Можно допустить, что до этой шутки он вообще пользовался только одной фигурой. Но умному человеку мешает это понять взрослая нормальность глупого человека: он пьет водку, говорит о политике и даже небезуспешно ухаживает за женщинами, иногда пуская в ход такого рода шутки. Правда, в данном случае, если женщина не глупа, ее смех означает не признание шутки умной, а признание его мужской привлекательности. Какой милый, наивный человек, думает она, восхищенная его мужской привлекательностью и придавая его уму детскую (еще один повод к восхищению), нормальную непосредственность. То же самое происходит и с мужчинами, когда в таком роде шутит женщина. Каждый раз, когда удается написать особенно смешную вещь, через некоторое время приходит особенно пронзительная грусть. Кажется, маятник для равновесия откачивается на столько же в обратную сторону и постепенно затихает. Но почему же мы не испытываем эту пронзительную грусть после того, как мы отсмеялись над чужими смешными страницами? За наше наслаждение уже уплатил автор? Бедный автор! Бедный Гоголь!

Разумеется, разумеется -

В человеке разум имеется!

Ну а счастье, коль разум имеется,

Далеко не всегда разумеется.

«Как я ему в глаза посмотрю?» – пока еще мир держится на этой фразе. Но дьявол подшептывает: «А ты ему по телефону все скажи – и тебе не придется смотреть ему в глаза».

Бешенее всех взрываются терпеливые народы, как и терпеливые люди.

Психологически это вполне естественно.

За спиной сентиментальности всегда топор. Отсутствию внутренних тормозов в размягченном состоянии соответствует отсутствие внутренних тормозов в ожесточенном состоянии.

Чем дар отличается от способностей?

Всякий дар в своем деле предполагает соучастие души, тогда как в деле даже очень способного человека соучастие души не требуется.

Настоящий поэт – это человек, который выхватывает из костра горящий уголек и пишет им ясным почерком. Уголек должен быть горящим, а почерк ясным.

Третьего не дано.

При всей его тупости удивительней всего не то, что у него мозги всегда отторгали мысль, удивительней всего то, что они всегда правильно угадывали, что отторгаемое и есть мысль.

Человек сухой и крепкий; чуткий и четкий. Завидую, особенно с похмелья.

Население – бывший народ.

Вливаю в ненавистное тело ненавистную водку. Пусть выясняют там отношения без меня, хотя и за мой счет.

Когда перед тобой загадочная политическая ситуация, сделай наиглупейшее предположение, и ты окажешься прав.

Могучая шевелюра. Какая плодородная почва, во всяком случае для волос!

Каждый раз замечаю: чем больше народу в компании, тем больше я пью. Чем объяснить? Подсознательное отвращение к толпе. Опьянение, отупение помогает не замечать ее.

Заумь – халат психбольницы, прикрывающий банальность. Не всегда маскировочный.

– Перепрыгни через человека!

– Зачем?

– Будешь сверхчеловеком!

– Но перепрыгнуть через человека трудно!

– А мы его пригнем!

Обожаю детей и стариков. Духовно можно опереться только на тех, на кого физически опереться нельзя.

Умный человек отличается от глупого не тем, что он не говорит глупости, а тем, что он их говорит гораздо реже.

Поверил в Бога – и на трактор!

Но русский человек, поверивший в Бога, останавливает тракториста и начинает выяснять, верит ли он в Бога. Кончается тем, что тракторист выключает трактор, сходит с него и они, усевшись под кустом, под водочку продолжают выяснять проблему. И невозможно установить, что ему было важнее – Бог или напарник для выпивки.

Всадницы без головы и мустанг

Но на что он жил? Он приспособился зарабатывать деньги, отшлепывая на машинке сценарии научно-популярных фильмов. Кроме того, или даже это самое главное, с коробками уже готовых фильмов по путевкам Московского бюро пропаганды литературы он ездил по стране и выступал в клубах, где сперва показывал эти вегетарианские фильмы, а потом с пылу, с жару извергал лавину своих стихов, которые провинциальная публика зачастую принимала за комментарий к фильму. Однако она хорошо ощущала энергию, которая вместе со стихами обрушивалась на нее со сцены и взбадривалась из чистой благодарности. К тому же излишняя понятность фильмов уравновешивалась некоторой непонятностью стихов.

За такой вечер он получал шестнадцать рублей, не считая командировочных.

Денег, конечно, мало, но он брал количеством таких встреч и был доволен романтикой гостинично-поездной жизни.

Вот случай, рассказанный им о его еще достаточно молодой жизни кинематографиста.

Я несколько лет писал сценарии научно-популярных фильмов для одного и того же режиссера. Написав сценарий, я уже не знал никаких забот, все усилия по проталкиванию моей работы через начальственные фильтры он брал на себя. Для меня это было очень удобно.

Правда, он настоял на том, чтобы всегда быть соавтором сценария, и половину гонорара за него получал он. Но и так мне это было выгодно, потому что я почти никогда не показывался на глаза начальству, которое всегда и везде при виде меня испытывало неприятное беспокойство за свое кресло. Он все сам улаживал.

Мы брали путевки в Дом творчества, где он всегда занимал двухкомнатный номер-люкс, потому что всегда приезжал с очередной любовницей и вообще обожал комфорт.

Я занимал обычный номер, за две недели иногда успевал написать два сценария, при этом безжалостно отбросив страницу или две его жалких поползновений действительно быть соавтором.

О чем бы я ни писал, он всегда ухитрялся на своих удивительно бездарных страницах внести какой-нибудь эротический элемент. Так, к моему сценарию о жизни дельфинов он ухитрился ни к селу ни к городу написать страницу, где в летний зной очаровательная полураздетая женщина, с полураскрытыми губками, легкой походкой, оставляя в размягченном асфальте глубокие следы от своих модных каблучков, движется в сторону дельфинария. Интересно, как она ухитрялась сохранять легкую походку, вырывая каблуки из сексуально размягченного асфальта?

– Ты, дельфин, – сказал я ему, выбрасывая в корзину его страницу, – твоя полураздетая женщина на острых каблучках движется в сторону дельфинария, а попадает в твой номер-люкс.

Он самодовольно рассмеялся, ничуть не жалея свою забракованную страницу, и, как бы подтвердив право быть соавтором, удалялся в свой номер, где целыми днями, валяясь на диване, читал детективные романы или занимался любовью со своей очередной пассией, надо полагать, по его неряшливости забыв вытащить из-под нее раскрытый детектив, что грозило удушением – он был довольно грузный мужчина – искомого убийцы, сыщика, невинно подозреваемых, которых было жалко, а заодно и автора – вот уж кого совсем не было жалко!

А между прочим, в застолье он бывал удивительно мил и удивительно остроумен.

Трудно было поверить, что его человеческая речь на пути от головы к пишущей руке столь безнадежно глупеет, а на пути от головы к языку сохраняет очаровательную свежесть и остроумие.

Звали его Георгий Георгиевич. Он был голубоглазым евреем с идеальной внешностью славянина. Да не просто славянина, а пятидесятилетнего барина, уже полнеющего и благородно седеющего. Люди, мало знавшие нас, встречаясь с нами в застолье, принимали его за русского босса, а меня, учитывая мое черноглазие, за трудолюбивого еврея при нем.

Любовницы у него всегда были русскими. Это обстоятельство меня совершенно не трогало, но он считал необходимым по этому поводу объясниться и несколько раз это делал, забывая или делая вид, что такого рода объяснение уже состоялось.

– Что я могу с собой поделать, – говорил он, сокрушенно пожимая плечами, – я половой антисемит.

И вот в последний раз мы вместе в Доме творчества. С ним была очередная любовница – высокая, стройная блондинка, которая была на целую голову и отчасти шею выше его. Приподняв собственную голову, он не без гордости оглядывал ее, словно многие годы выращивал ее и вырастил именно такой большой, как мечтал. Она же постоянно двусмысленно мне улыбалась, словно деликатно намекая, что по росту она больше подходит мне. Люди, видя нас втроем, вполне могли принять нас за молодоженов с папашей. И принимали иногда.

И вот я почти две недели тружусь в своем номере, дописываю второй сценарий, а он трудится у себя в номере-люкс, лежа на диване то с детективом, то со своей любовницей. Такой Обломов, деятельный в пределах дивана, как Штольц.

За эти две недели он ни разу не вышел прогуляться на воздух. Иногда мне казалось, что он и свои картины снимает на диване, вынеся его на съемочную площадку.

Каждый вечер после ужина мы выпивали в его номере, и он всегда был оживлен и остроумен. А любовница его даже на его остроты двусмысленно улыбалась мне: мол, мы бы славно обошлись и без всяких острот! Но я строго держался и не давал ей переходить границу. Кстати, откуда что берется! Этот пьяница и бабник чутко понимал мои стихи, и я ценил это.

И вдруг он однажды вечером врывается в мой номер, бросает исполненный непередаваемого комизма молниеносный взгляд на мою постель, словно пытаясь поймать глазами женщину, пока она ловко не закатилась за кровать.

– Люду не видел?! – спрашивает он у меня тревожно и подозрительно.

Я представил себе, как эта несколько угловатая дудоня закатывается за кровать, и чуть не расхохотался.

– А куда она делась? – спросил я.

– Не знаю, – сказал он, – я заснул на диване. Просыпаюсь – ее нет. Думаю, может, в другой комнате. Окликаю – ее нет. Близких знакомых, кроме тебя, у нас здесь никого нет. Куда же она могла деться?

Как бы в состоянии задумчивой рассеянности он открыл дверь в туалет и заглянул туда.

– Может, гулять пошла? – предположил я.

– Пойдем поищем, – оживился он, – уже темно. К ней могут пристать хулиганы.

Он пошел к себе в номер и вернулся одетый. Я тоже оделся, и мы вышли наружу.

Холодный осенний ветер слегка пронизывал мое пальто. Мы целый час слонялись вокруг Дома творчества, но ее нигде не было.

– Мы слегка поцапались, – вдруг припомнил он, – может, она разозлилась и уехала в город.

– Так позвони, – сказал я.

– У нее нет телефона, – сокрушенно ответил он, – но как я буду спать один!

Фантастическая личность! По его словам, он с двадцати лет ни одной ночи не спал один! Если бы за этот стаж платили! То, что я был верен жене, для него оставалось необъяснимой астраханской дикостью. Но его слегка примиряло со мной то, что за время нашего знакомства я успел развестись и заново жениться.

Мы еще целый час, уже прихватив шоссе, искали ее, и он иногда подходил к редким прохожим и спрашивал, не встречалась ли им случайно высокая, стройная блондинка. Нет, высокую, стройную блондинку никто не видел.

– Да, она уехала в город, – все уверенней говорил он каждый раз. – Слава Богу, что хулиганы ее здесь не побили. Они терпеть не могут высоких, стройных блондинок. Их раздражает порода.

Однако мы продолжали ее искать. Я заметил, что чем дольше мы ее ищем, тем чаще он подходит к прохожим женщинам, чтобы узнать, не видел ли кто из них высокую, стройную блондинку. Я в таких случаях стоял несколько в сторонке.

Потом он вообще перестал у мужчин спрашивать, видимо решив, что, если уж мужчина встретил высокую, стройную блондинку, он ее непременно умыкнул бы. А раз мужчина ее не умыкнул, значит, он и не видел ее. Потом мне показалось странным, что он, спрашивая у женщин о высокой, стройной блондинке, все больше и больше тратит времени, чтобы получить эту нехитрую информацию.

И наконец вижу, что он с одной небольшого роста, но тоже блондинкой вовсе заговорился о своей высокой, стройной блондинке. И вдруг он достает из кармана бумажник, отсчитывает деньги при свете фонаря и дает их этой маленькой блондинке. Она прячет деньги в сумочку. Только я подивился необычайной ценности информации о высокой, стройной блондинке, полученной им от маленькой, полненькой блондинки, как он вдруг взял под руку информаторшу и подошел ко мне.

– Да, – говорит он, – Люда, конечно, на меня обиделась и уехала в город. Но мы проведем время с этой милой девушкой. Скорее домой! Надо выпить!

Замерзли! Я художник, я не могу спать без женщины!

Я с ума схожу, когда подобные люди называют себя художниками! Но чаще всего именно такие люди и называют себя художниками, хоть умри! И вот так странно завершились наши поиски высокой, стройной блондинки. Он, видите ли, художник!

У себя в номере он быстро и умело накрыл на стол, достал из холодильника бутылку водки, открыл ее, и мы уже весело ужинаем и пьем водку. Георгий Георгиевич в ударе, как всегда в присутствии новой женщины. Он беспрерывно шутит, а эта молоденькая пышечка беспрерывно хохочет. Да и я смеюсь, потому что он в самом деле необычайно весел, находчив и остроумен.

И вдруг раскрывается дверь второй комнаты – и оттуда выходит Люда в халате.

Боже! Немая сцена. Георгий Георгиевич застыл с приоткрытым ртом, откуда почти явно торчала, извиваясь, недовысказанная острота.

– Что это вы расшумелись? – говорит Люда, позевывая. – Я тут прикорнула.

– Я тебя звал, неужели ты не слышала? – приобрел наконец дар речи Георгий Георгиевич.

– Значит, плохо звал, – отвечала Люда, присаживаясь за стол и оглядывая незнакомую девушку.

И тут бог застолья нашелся!

– Пока ты спала, к нашему другу приехала его подружка, – сказал он, толкая меня под столом. – Мы решили отметить это событие. Она завтра уезжает!

Люда, зловеще сверкнув рубинами в сережках, иронически улыбнулась мне: мол, неужели ради этой пигалицы ты не отвечал на мои призывные улыбки.

А эта пышечка тоже посмотрела на меня. До нее, видимо, не сразу дошло случившееся. А теперь дошло! И она стала, посматривая на меня, дико хохотать. Георгий Георгиевич явно испугался, что она своим смехом возбудит в Люде какие-нибудь подозрения.

– Ну что вы, Танечка, так смеетесь, – с некоторым упреком обратился он к ней. – Ничего особенно смешного не случилось.

– С тех пор как я не видела своего друга Юру, он вырос! – кричит она сквозь смех и, взглянув на меня, снова заходится.

Тут все решили, что моя девушка большая шутница, хоть и несколько плебейского толка. Георгий Георгиевич рассказал, как мы втроем искали Люду в окрестностях Дома творчества и очень боялись, что какие-то хулиганы могли ее обидеть.

Оказывается, когда он проснулся и не увидел Люду, он несколько раз окликнул ее, но, не услышав ответа из другой комнаты, решил, что она вышла (ко мне!), и, не заглядывая туда, ринулся за ней.

Георгий Георгиевич на радостях открыл еще одну бутылку водки, и я налегал на выпивку, потому что мне впервые предстояло спать с женщиной в одной комнате и объяснять ей, что я не изменяю жене.

Труднее всего втолковать людям, что ты не изменяешь жене. Тебя после этого начинают презирать даже те, кто сами не изменяют своим женам, но никому не выдают этой якобы постыдной подробности своей жизни.

Я порядочно надрался, и уже во втором часу ночи мы с пышечкой, прихватив свои одежды, спустились в мой номер.

А Георгий Георгиевич, поняв, что ему удалось обмануть бдительность Люды, окончательно осмелел и, зная, что я из принципа не изменяю женам, с величайшим любопытством ждал этой ночью моего падения.

– Действуй, – шепнул он, провожая нас до дверей, – за все уплачено!

Уже у себя в номере, когда я стал на диване стелить постель щебечущей пышечке, она удивленно спросила:

– Мы что, отдельно будем спать?

– Да, – сказал я, – видите, как получилось. Оказывается, Люда не уехала. А я всегда верен своей жене.

– Совсем всегда? – поразилась она.

– Когда женат, – объяснил я.

– А сейчас вы женаты? – спросила она.

– К сожалению, да, – сказал я несколько лицемерно, потому что, кроме принципа, я вообще не любил иметь дела со шлюхами.

– С кем же мы спим, – вслух задумалась она, – если мужчины верны своим женам?

– Ну, не все мужчины, – примирительно сказал я.

– Никогда в жизни этого не было, – произнесла она с пафосом, – чтобы я отдельно от мужчины спала в одной комнате! Подруги не поверят!

– Спокойной ночи, – сказал я и погасил свет. – Раздевайтесь и ложитесь.

В темноте мы оба разделись и легли.

– А если я к вам приду? – спросила она у меня через пять минут.

– Придется вас прогнать, – сказал я, чувствуя, что на меня наваливается сон.

– У меня никогда не было такого большого мужчины, – вздохнула она в темноте.

И вдруг через некоторое время стала тихо и долго задыхаться от хохота.

– Что вас смешит? – уже сквозь сон спросил я.

– Мысли, – сказала она, стараясь заглушить смех.

Я провалился в сон. Утром, когда я проснулся, она уже была на ногах.

Веселая, подвижная пышечка. Если б я не был женат, если б она не была шлюхой, хорошо было бы с ней побаловаться, подумал я.

– Отвернитесь, – сказал я, почему-то чувствуя, что это необычайно глупо звучит. Она отвернулась, многозначительно хохотнув. Я оделся, умылся, побрился. И тут в дверь раздался характерный стук Георгия Георгиевича. Я открыл дверь и вижу – он прямо умирает от любопытства. Отзывает меня в коридор.

– Ну как? – жарко шепчет.

– Никак, – отвечаю я, почему-то особенно раздражаясь именно его жарким шепотом. Если б шепот не был таким жарким, было бы терпимо.

– Как это? – удивляется он, слава Богу переходя на нормальный язык. – А она что?

– Я ей все объяснил, – сказал я, – она была очень удивлена, но примирилась.

Надо сказать, что Георгий Георгиевич был странно скуповат, когда дело не касалось женщин или застолья. Тут он был щедр, как король. Но, например, в жаркий летний день купить на улице мороженое он считал глупой и даже развратной тратой денег. Такой он был. Со своими строгостями.

– Но я же заплатил деньги за ночь, – сказал он обиженно, разводя руками, – так не годится. Нельзя без толку бросаться деньгами. Я сейчас с ней пересплю, а ты стой с этой стороны. Если вдруг появится Люда, скажи, что я к одному знакомому в номер зашел. Не подпускай ее к дверям.

– Хорошо, – согласился я, глотая его унизительное предложение, и он вошел в номер.

Минут через десять он вдруг открывает дверь и говорит:

– А ну-ка зайди!

Я захожу, удивляясь, что он так быстро справился со своим делом. Но не тут-то было!

– Она говорит, что спала с тобой в эту ночь, – раздраженно объяснил он мне,

– поэтому не отдается мне!

– Да! – топнула ножкой пышечка, – я договаривалась спать с одним, а не с двумя!

– Но ты же со мной не спала, – говорю я.

– Спала, – твердо отвечает она, – спала!

– В одной комнате, а не в одной постели! – уже раздражаюсь я.

– В одной постели! – утверждает она.

– Ты что, с ума сошла? – говорю я.

– Ничуть, – отвечает она, – я пришла к тебе в постель, когда ты спал. И все сделала, что надо!

– Но это же физически невозможно! – воскликнул я. – Когда мужчина спит!

– Очень даже возможно, – отвечает она, – спит-то он спит, да не весь!

– Но я бы проснулся! – воскликнул я.

– Ты был пьян, – ответила она достаточно разумно, – потому и не проснулся.

– Но чем ты докажешь, что это правда? – с величайшим любопытством спросил Георгий Георгиевич.

Она стыдливо потупилась.

– Ну? – строго настаивал Георгий Георгиевич.

– У него родимое пятно, – все еще стесняясь, тихо ответила она, – пониже пупка.

Георгий Георгиевич пронзительно посмотрел на меня – вероятно, взглядом одного из бесчисленных сыщиков, о которых он читал. Я кивнул. Это было правдой. Смутно вспомнил, что в ее словах есть что-то из какой-то восточной сказки. Шехерезада, что ли?

– Но как ты это заметила? – не унимался Георгий Георгиевич, видимо входя в роль своих проницательных сыщиков, – ты что, свет зажгла?

– Фонарь из окна светил, – призналась она, снова потупившись.

– Правда, я два раза в жизни спал со спящей женщиной, – вдруг ни с того ни с сего признался Георгий Георгиевич, как всегда ревнуя и боясь, что чей-то эротический опыт может оказаться богаче, – они были пьяны. Ничего особенного. Теплый труп.

– Ой! – испуганно воскликнула пышечка, – ничего подобного!

– А тебе ничего не приснилось? – вдруг спросил у меня Георгий Георгиевич, видимо переходя на роль психоаналитика.

– Ничего! – ответил я резко.

– Но что же это получается? – стал соображать Георгий Георгиевич. – Мужчина платит женщине деньги, чтобы получить удовольствие. А так ты сама и удовольствие получила, и деньги получила, а он остался ни с чем. Заплати ему за эту ночь деньгами, которые я тебе дал, а он их мне вернет. Иначе получается насилие!

– Мне это даже смешно слушать! – воинственно воскликнула пышечка. – А еще такие интеллигентные люди! Кино снимают! Это же позор, чтобы мужчина брал деньги за то, что с ним женщина спала. Я только слышала, что очень старые американки молодым итальянцам платят. А у нас в России это стыд!

– Ну, ладно, иди, иди, – примирительно сказал Георгий Георгиевич, – ты не виновата, что Люда спала в той комнате. Слава Богу, что она еще вовремя проснулась! Было бы крику, если бы мы пошли в ту комнату спать, а она бы тут проснулась!

– Скажите спасибо, что я все вовремя усекла и подыграла, – сказала пышечка,

– другая дура по глупости раскололась бы!

– Да, ты молодец! Ты хорошо держалась, – важно заключил Георгий Георгиевич,

– а теперь до свиданья, иди!

Она оделась и ушла.

– Любопытный случай, – сказал Георгий Георгиевич, – можно, я расскажу об этом Люде? Вот она посмеется! Я только расскажу, как тобой овладели во сне.

Кстати, я попрошу Люду, чтобы она попробовала овладеть мной во сне.

Интересно, что мне приснится, если я, конечно, не проснусь.

– Можешь сказать, – отвечал я. – Главное, я не могу решить философскую суть вопроса. Изменил я жене или нет?

– Думай! – весело ответил Георгий Георгиевич. – Я пойду и Люде все расскажу!

Вечером по этому поводу надо как следует встряхнуться!

Я весь этот день с особой яростью работал над сценарием, не отрываясь ни на минуту. Я закончил его.

Вечером я занес Георгию Георгиевичу свою готовую работу. Люда, улыбаясь уже без всяких намеков, смотрела на меня. Она быстро и ладно накрывала на стол.

Что-то беспрерывно напевая, она летала по комнате. Мы крепко выпили с Георгием Георгиевичем, и Люда на этот раз была так добра, что не останавливала нас. Георгий Георгиевич всесторонне обшучивал мое падение, а Люда, в свою очередь, хохотала до упаду. Мне показалось, что она на этот раз несколько завышает возможности его юмора, а ведь обычно она их сильно занижала. Я был рад, что она потеплела к нему.

Весьма пьяный, в прекрасном настроении вернулся я к себе в номер и заснул как убитый. Утром я еще был в постели, когда ко мне вломился Георгий Георгиевич.

– Людка у тебя была ночью? – вдруг спросил он, проницательно заглядывая мне в глаза.

– Что, опять пропала? – спросил я. Это уже становилось скучным.

– Да нет, не пропала, – ответил он, – но ночью я проснулся, и мне показалось, что она вставала и только улеглась, когда я проснулся.

– Ну и что? – сказал я. – Мало ли для чего человек может встать ночью.

– Да, конечно, – согласился он и с жаром добавил: – Но дело в том, что я ее после этого захотел взять, но она мне наотрез отказала. Первый раз за все время, как мы вместе! Очень подозрительно, очень! Неужели эти две всадницы без головы объездили дикого мустанга так, что он даже не заметил этого?

– Да пошел ты к черту! – крикнул я ему. – Не было, не было, не было здесь никакой Люды!

Он ушел не то довольный своей остротой, не то успокоенный моим негодованием.

Я встал, умылся, побрился и уже готовился идти завтракать. Вдруг кто-то стучится в мой номер. Открываю. Улыбающаяся Люда. Молча подходит к моей постели, откидывает одеяло, роется в простынях и вдруг достает оттуда сережку с рубиновым камнем, словно землянику сорвала на лужайке.

Я офонарел. Еще ничего не понимаю. Она деловито вдевает сережку в мочку уха, потом из кармана достает вторую сережку и вдевает ее в мочку второго уха.

После этого она с хохотом прильнула ко мне и сказала:

– Прости, я бы никогда тебе в этом не призналась, но это фамильные серьги!

Она вышла. Я понял, что моя миссия здесь закончена. Если у меня была хотя бы тень подозрения, я бы запер дверь. И пьяный, и трезвый, если уж я заснул, то сплю как убитый. Признак дурацкого доверия к миру. Все животные спят чутким сном – признак недоверия к миру. И правильно делают!

В бешенстве я покидал вещи в чемодан и не прощаясь ни с кем уехал из Дома творчества. Гонорар за сценарий я все же получил, но больше никогда не встречался с Георгием Георгиевичем.

Было ли все это изменой жене в философском плане, я так и не решил, но из принципа с женой разошелся. Впрочем, я и так собирался с ней разойтись. Она благополучно вышла замуж, благополучно уехала с мужем в Америку, куда увезла моего единственного сына. Я по нему иногда безумно скучаю. Скучаю, как Наполеон по сыну, согласно легенде, если вообще эта скотина могла по чему-нибудь скучать, кроме славы.

Н а ловца и зверь бежит

Итак, я уже говорил, что он ездил по стране и зарабатывал деньги выступая в клубах со своими фильмами, а потом читая стихи.

Но однажды у него с этими встречами случилась трагическая накладка. Он приехал в один туркменский районный город, где должен был, как обычно, показать фильм и почитать стихи.

До выступления он обязан был явиться в райком, где получал добро на эту встречу, и оттуда следовало распоряжение относительно киномеханика, афиши, а зачастую и явления публики, занятой на местном производстве.

В этом районном городе гостиницу заменял Дом колхозника, где он занял номер, умылся, побрился, приоделся, а потом отправился в райком. Он закрыл номер и зашагал к выходу.

Сейчас он выглядел так импозантно, что работники Дома колхозника с удивлением и подобострастием глядели на него, думая, что из Москвы приехал большой человек, который, скорее всего, займется ревизией работы райкома партии.

То, что столь яркий мужчина приехал в Дом колхозника без машины и без сопровождения райкомовских работников, подтверждало догадку о его инкогнито.

Да и слыхано ли было, чтобы большой человек из Москвы останавливался у них!

Для таких людей у райкома есть собственный удобный и уютный дом без вывески.

Да, он собирается неожиданно нагрянуть в райком, чтобы его работники растерялись и не успели спрятать концы в воду, видимо, ближайшего арыка.

Когда он проходил по коридору, директор этого заведения стоял у окошка администраторши. Увидев нашего поэта, он понял, что это последний шанс в жизни.

– Крыш течет, – сказал он печально, но внятно, когда поэт поравнялся с ним,

– райисполком не помогает…

Он успел все учесть. На случай гнева большого московского начальника за то, что к нему обращаются с такими мелочами, он это сказал в сторону администраторши, как бы обмениваясь с ней элегическими впечатлениями.

– Все образуется! – бодро гуднул наш поэт и победно вышел вон.

– Все образуется, сказал? – удрученно повторил директор. – Это как надо понимать? Образованья не хватает?

– Видно, уже решил этих всех отправить в партшколу, а прислать других, – подсказала бойкая администраторша.

– Уже решил? – удивился директор.

– Конечно, – уверила его администраторша, – видишь, какого прислали? Лев!

– Марусия! – оторопело окликнул директор уборщицу. – Быстро поставь в номер московского гостя горшок!

– Сейчас! – охотно откликнулась уборщица.

Дощатая уборная Дома колхозника была во дворе. Единственный, правда огромный, горшок этого заведения предназначался редким почетным гостям.

Наш поэт легкой походкой нес свое грузное тело в райком. Такими делами там занимался второй секретарь, фамилия которого была Кирбабаев. Но секретаря на месте не оказалось. Кабинет его был заперт. Какая-то женщина, проходившая мимо, сказала, что Кирбабаев обедает.

Наш поэт полтора часа шагал взад-вперед по длинному райкомовскому коридору, мысленно выбирая стихи, которые он будет читать местному населению, выбирая и привередливо отбрасывая стихи чересчур сложные. Он все шагал и шагал, удивляясь не только затянувшемуся обеду Кирбабаева, но и полному отсутствию признаков жизни в райкоме. Намаз творят, что ли? – думал он шутливо.

И вдруг, когда он был в одном конце коридора, в другом его конце, куда подымалась лестница с улицы, появился человек. Он был среднего роста, на нем был желтоватый чесучовый китель, а на голове соломенная шляпа.

И тут наш герой совершил свой первый промах, который неминуемо привел его к роковой ошибке. Как бы озаренный догадкой, не дождавшись приближения человека и тем более сам застыв на месте, он громовым голосом сотряс, впрочем, недряхлые своды райкома:

– Вы случайно не Кирбабаев?!

Это был Кирбабаев, и ему сразу стало обидно. Случайно? Нет, Кирбабаев случайно не мог оказаться Кирбабаевым! Он вздрогнул и с выражением крайней подозрительности оглядел сановитую фигуру поэта.

– Кирбабаев буду, – скромно согласился он и поспешил к сановитой фигуре. О, если бы не поспешил, все могло бы обернуться по-другому!

– На ловца и зверь бежит! – прогудел поэт, улыбаясь и распахнув руки, но все еще не двигаясь навстречу, превращая роковую ошибку своих слов в полный провал. Однако ничего этого не понимая.

Кирбабаев нахмурился и подошел к нему. Какой-то русский корреспондент газеты, подумал он, что-то хочет выяснить по поводу кляузы какого-то местного негодяя.

– А ви кто будете? – спросил он с несколько замороженным любопытством.

– Я из Москвы, – отвечал поэт, по привычке не соразмеряя свой голос с близостью собеседника, – у меня путевка! Я в вашем клубе покажу научно-популярный фильм и почитаю стихи!

Кирбабаев почувствовал, как, легко прожурчав, откатилась от сердца волна тревоги и тут же прикатила и залила его волна багровой ярости.

– Лектор будете? – уничтожающе обобщил он, оглядывая его и поражаясь наглому несоответствию огромности лектора его ничтожному занятию. Будь наш поэт заезжим фокусником-гиревиком, он бы не вызвал у него такой высокой степени ненависти.

– Можно считать, – мирно согласился поэт, привыкший в провинции к такого рода упрощениям.

– Как ви сказали, – прошипел Кирбабаев, – на ловца и зверь бежит? Виходит, Кирбабаев зверь? Шакал, лисица, волк?

– Да нет, – захохотал наш друг, – я вас здесь жду полтора часа. Вижу – кто-то идет. Оказалось, Кирбабаев идет в мою сторону. Вот я и сказал: на ловца и зверь бежит. Такая русская пословица.

– Молчи, большой верблюд! – гневно воскликнул Кирбабаев. – Кирбабаев идет в твою сторону! Твоя сторона далеко отсюда! Значит, Кирбабаев как зверь бежит к тебе? Великорусский шовинизм не кушаем! Тем более от лектора!

– Вы меня неправильно поняли! Я хотел сказать…

– Ти все, что хотел, сказал! Теперь Кирбабаев будет говорить! Я твой засранный путевка подписать не буду! Сейчас – к первому секретарю! Я доложу! Если хочет, пусть он подпишет!

Потрясенный поэт последовал за обезумевшим, как ему показалось, Кирбабаевым.

Когда они подошли к дверям первого секретаря, Кирбабаев приосанился, снял шляпу, пригладил свои поредевшие волосы и перед тем, как открыть дверь, оглянулся на поэта:

– Жди! Визовем!

Все это происходило в предбаннике кабинета первого секретаря. Юная секретарша сидела за столиком. Кирбабаев что-то по-туркменски сказал ей, зыркнув на нашего поэта. Секретарша кивнула головой. Поэту показалось, что слова Кирбабаева означают:

– В случае побега этого типа немедленно дай сигнал!

Поэт окончательно уверился, что Кирбабаев обезумел. Похоже, что я свел с ума одного критика и одного партийного работника, подумал он. Но сейчас он в этом не видел юмора. Опять мистика парности нагнала меня, вспомнил он угрюмо.

Минут двадцать он стоял и слышал из-за двери, обитой дерматином, голоса из кабинета. Было тревожно, но он все-таки был уверен – первый секретарь поймет, что никакого оскорбления не было.

Наконец дверь приотворилась, и Кирбабаев зловеще поманил его пальцем. Поэт понял, что Кирбабаев все еще полон враждебности, но смело шагнул в кабинет.

За большим столом, уставленным телефонами, сидел первый секретарь райкома.

– Здравствуйте! – прогремел поэт в его сторону, почти по системе Станиславского, пытаясь самим своим голосом разогнать миазмы враждебности, внесенные сюда Кирбабаевым. Но, увы, ответного приветствия не последовало, по-видимому, система Станиславского в Азии не срабатывала.

Было тихо и решительно непонятно, что делать. Первый секретарь, не чувствуя никакой неловкости, перебирал янтарные четки. Поэт заметил, что шляпа Кирбабаева стоит на столе рядом со шляпой первого секретаря. Он подумал, что это плохой признак. Потом он заметил, что шляпа первого секретаря побольше шляпы Кирбабаева. Это внушало некоторые надежды. К тому же она была и поновей. Потом он заметил, что сам первый секретарь, как и Кирбабаев, в чесучовом кителе, но китель у него посветлей и поглаже. Потом он заметил, что и физически первый секретарь покрупней и поплечистей Кирбабаева.

Гениальная догадка, смутно напоминающая таблицу Менделеева, промелькнула в голове поэта. Постой! Постой! – сказал он себе, сильно волнуясь. Каков же третий секретарь, если пользоваться данными двух секретарей? Если моя догадка верна, третий секретарь должен быть пониже второго секретаря, а чесучовый китель его должен быть более мятым и темным, чем у второго. Не вполне исключена даже оторванная пуговица, но одна. Надо сейчас же проверить догадку! Сам понимая, что рискует вызвать яростную вспышку Кирбабаева, он, сверкая горящими черными глазами из-под черных бровей, уставился на Кирбабаева и властно произнес:

– Третий секретарь ниже вас ростом? Правильно?

Но гнева почему-то не последовало, последовал смех, и при этом довольно добродушный.

– Большой дурачок, – назидательно произнес Кирбабаев, – конечно, он ниже рост имеет. Он же третий секретарь, а Кирбабаев второй!

– Я все угадал!!! – с такой силой выдышал поэт и посмотрел на Кирбабаева такими горящими, пронзительными глазами, что тот на миг смутился, думая, что поэт намекает на взятки.

Как бы переждав мелкие технические разъяснения, первый секретарь с убийственной иронией спросил у поэта:

– Значит, у вас получается так: на ловца туркмен бежит?

– Да что вы, – возразил поэт, – я совсем не то сказал. Я ожидал товарища Кирбабаева…

– Кирбабаев тебе не товарищ! – поспешно перебил его Кирбабаев, как бы боясь, что грядущий суд примет по ошибке его за однодельца нашего поэта.

– …и вдруг он идет в мою сторону. Узнав, что это Кирбабаев, я вспомнил русскую пословицу: на ловца и зверь бежит. Эта пословица означает неожиданность встречи с человеком, которого ты хотел увидеть.

– Зверь при чем? – вдруг заорал первый секретарь и, схватив свою шляпу со стола, неожиданно ловко прихлопнул ею шляпу Кирбабаева. – Кирбабаев зверь?!

Поэт проследил за рукой первого секретаря и так понял его жест: несчастного Кирбабаева неожиданно прихлопнули, как зверя!

Кирбабаев стоял в почтительной близости к первому секретарю, а сейчас он совсем повернулся к нему, и они быстро заговорили по-туркменски. Поэт, конечно, ничего не понимал, кроме некоторых международных слов.

– Бзим партия хулум-булум, хулум-булум, хулум-булум – зверь бежит!

– Бзим Ленин хулум-булум! Хулум-булум! Троцкизм-бухаризм! Булум-хулум!

Булум-хулум! Булум-хулум! – зверь бежит!

– Бзим интернационализм! Булум-хулум! Булум-хулум! Булум-хулум! Булум-хулум!

Булум-хулум! – зверь бежит! Ничего не получается!

Наконец, отшлифовав на родном языке теоретические основы дружбы народов, первый секретарь обратился к поэту:

– Будь честным – и я тебе все пирощаю! Кто из местных людей научил тебя оскорбить Кирбабаева? Кирбабаев прекрасный работник. Грамотный. Четыре раз бил в Москве. Если меня завтра возьмут в обком или ЦК, Кирбабаева могут назначить даже первым секретарем. Конечно, с моей ркомендацией.

Он посмотрел на свою шляпу, нахлобученную на шляпу Кирбабаева, что-то сообразил и, сняв свою шляпу со шляпы Кирбабаева, поставил ее рядом, что могло означать: не мешаем Кирбабаеву расти по партийной линии.

– Да я ничего не имею против Кирбабаева! – с воплем отчаяния отвечал наш поэт.

– Ти, глупый, не имеешь, но тебя научили враги Кирбабаева! Я все знаю, что в районе говорят. Кирбабаеву завидуют, потому что он работает рядом со мной.

Говорят: а почему Кирбабаев поставил посередине своего села памятник своему дедушке? Отвечаю! А потому, что имеет право! На свои деньги поставил! Его дед бил великий скотовод! Двадцать тысяч овец имел! А эти босяки что имеют?

Когда пришла коллективизация, он всех своих овец сдал в колхоз. Добровольно.

Потому что умный бил, знал – все равно отнимут. А другие, дураки, держались за курдюк своего овца и в Сибирь попали. Так кто бил умный, кто помогал советской власти?

– Да я ничего не имею против Кирбабаева! Поймите меня! – уже в полную мощь голоса, сорвавшись, закричал наш поэт.

– Молчать! – неожиданно пискляво-пронзительным голосом взвизгнул первый секретарь и с такой неимоверной силой ударил кулаком по столу, что обе шляпы подпрыгнули. Шляпа первого секретаря, по-видимому уже привыкшая к таким жестам, слегка подпрыгнула и скромно опустилась на свое место, тогда как шляпа Кирбабаева мало того что весьма фривольно подпрыгнула, она еще петушком насела на шляпу первого секретаря.

– Почему ти здесь все время киричишь?! – продолжал хозяин кабинета. – Ти что, секретарь обкома или инструктор ЦК?

– Я даже не член партии, – отвечал поэт, всячески пытаясь унять свой голос.

– Дважды тем более! – крикнул секретарь райкома. – Ти оскорбил Кирбабаева и еще здесь киричишь в мой кабинет, как будто хочешь сесть на мое место! А гиде партийный этика? Знаешь, кто по тебе пилачет, пилачет?

– Кто? – растерялся поэт, вспомнив, что оставил в Москве больную маму.

– Турма пилачет, – пояснил первый секретарь и вдруг обратил внимание на нагловатое положение шляпы Кирбабаева на его шляпе. Он нахмурился и водворил шляпу второго секретаря рядом со своей, но на этот раз несколько подальше, вероятно от дурного соблазна снова вспрыгнуть на шляпу первого секретаря.

А ведь и в самом деле могут посадить эти безумцы, подумал наш герой.

– Дело в том, что мой учитель юности был последним поэтом-акмеистом, – начал он, совершенно не понимая неуместность своего объяснения, – он был такой старый, что почти ничего не слышал. Мне разговаривать с ним приходилось очень громко. И я так привык.

– Твой аксакал бил меньшевик, – неожиданно гениально угадал секретарь райкома, – я, слава Аллаху, все слишу. Кирбабаева никому в обиду не дам.

Гиде твой путевка? – добавил он подозрительно миролюбиво.

Но поэт ничего не заподозрил. Наоборот, он обрадовался. Суетливо порывшись в карманах твидового пиджака, он достал путевку и положил на стол секретаря райкома.

Тот взял в руки путевку, нежно разгладил ее и, вдумчиво разорвав, выбросил в корзину.

– Вот твоя лекция, – сказал он. – Отсюда куда едешь?

– В Ташкент, – удрученно сказал поэт. Он ужаснулся, что не получит шестнадцать рублей и завтра и послезавтра как минимум придется голодать.

Денег было только на один день. Ради них он вынес все унижения, и все оказалось напрасным. Слава Богу, у него был хотя бы билет на Ташкент.

Мистика, подумал он. Именно в Ташкенте он три года назад три дня (малая мистика) голодал без денег, подбирая под базарными стойками выпавшие фрукты, и ел их, правда тщательно вымыв под краном.

– Ташкентский поезд завтра утром, – снова взяв в руки четки, спокойно соображал секретарь райкома, – перночевать дадим. Но больше ничего не дадим.

Пусть узбеки слушают твой лекция. Они не скажут: а гиде партийный этика? Но туркмен совсем другое дело. Когда туркмен идет по базар…

Он вдруг воодушевился, бросил четки, вскочил, важно выпятил грудь и гордо, поглядывая по сторонам, прошелся по кабинету.

– …когда туркмен идет по базар… Учти, даже в чужой республике! Он так идет. И люди тихо ему вслед говорят: «Туркмен идет! Туркмен идет!» А когда узбек идет по базар, это даже стидно сказать, как он идет…

Он согнул ноги в коленях, бессильно опустил руки вдоль тела и слегка сгорбился, неожиданно талантливо изображая бескостность спины. Так он стоял секунды три. Потом, словно вдруг вспомнив, что даже подражать узбеку слишком долго опасно, потому что можно так и остаться им, быстро выпрямился и стал гордым туркменом.

– На ловца Кирбабаев бежит, как шакал! – сказал он, усаживаясь на свое место и снова взяв в руки четки. – Этому нас партия учит? Нет, не этому нас партия учит. А гиде партийный этика? Иди отсюда и благодари Аллаха за мою доброту. Пилачет, пилачет по тебе турма!

Потрясенный поэт покинул райком и отправился к своему пристанищу. Директор Дома колхозника, словно все еще дожидаясь его у окошка администраторши, увидев его, глухо сказал уже прямо в его сторону:

– Криш течет… Никто не помогает. И Москва не помогает!

Поэт заподозрил, что директор что-то знает о его неудачном посещении райкома. Но ему ни с кем ни о чем сейчас не хотелось говорить. Ему хотелось крепко напиться и заснуть до следующего утра.

Поэт вошел в свой номер и грузно опустился на кровать. Он долго так просидел, собираясь с мыслями. Он заметил, что ковер, висевший на стене, куда-то исчез, но не придал этому значения. Вдруг кто-то постучал.

– Войдите! – гуднул он.

Вошла русская старушка. Видно, уборщица.

– Я должна взять горшок, – сказала она несколько стесняясь.

– Какой горшок? – не понял поэт.

– У нас для почетных гостей горшок, – разъяснила она, – чтобы ночью во двор не бегать.

– Вот как, – сказал он, рассеянно озираясь и не видя горшка, – а где он?

– У вас под кроватью, – ответила старушка и, став на колени, выволокла из-под огромной кровати огромный горшок.

Поэт был изумлен в силу особенностей своего поэтического мышления. В жизни он видел только детские горшки и представлял, что все горшки обязаны оставаться таковыми. А в этом горшке можно было сварить плов на десять человек.

– Разве такие горшки бывают? – с величайшим раздражением спросил он, подсознательно связывая величину горшка с величиной обрушившегося на него скандала.

– Бывают, милок, бывают! Здесь все бывает, – ласково ответила старушка и вышла с горшком из номера.

Поэт проследил за уходящей старушкой, и, возможно, от ее ласкового голоса его мысль сделала совершенно неожиданный скачок: а хватило бы ему сексуальной смелости лечь с этой старушкой? Он ведь сейчас не женат. Вопрос почему-то принимал принципиальный характер. А что, аккуратная старушка, попытался он себя взбодрить. Но тут же помрачнел, ясно поняв, что такой сексуальной смелости ему не хватило бы. Главное, беспощадная честность по отношению к себе, подумал он.

А вот Артюру Рембо такой смелости хватило бы! Он бы переспал со старушкой и на следующий день написал бы великолепный сонет о гнилости западного человека.

Бедный Артюр Рембо! В шестнадцать лет первый поэт Франции, он в девятнадцать бросил писать и в погоне за золотом уехал в Африку. И в самом деле: за долгие годы пребывания в Африке добыл восемь килограммов золота и на поясе таскал его с собой. Тяжелый пояс, особенно для поэта. А дальше – гангрена, смерть. Ставка на золото оказалась ложной.

Артюр Рембо, думал сейчас наш поэт, и крупные слезы капали у него из глаз, мой гениальный мальчик! Зачем ты ради злата покинул Францию и уехал в Африку?! Тебе было так много дано, но ты проиграл свою игру, Артюр Рембо! Ты никого в жизни не спас, и поэтому тебя никто не спас!

Нет, я создаю здоровое искусство, думал наш поэт, и потому не могу лечь со старушкой, как Артюр Рембо! Не могу! И я прав!

Он с такой силой выразил про себя свое окончательное решение, как будто старушка стояла возле его постели и, всхлипывая, просилась к нему под одеяло.

Через минуту старушка уже без стука вошла к нему в номер, все еще слегка согбенная под тяжестью горшка. В первую секунду ему показалось, что старушка, мистически угадав его мысли, пришла, чтобы соблазнить его. И горшок принесла, чтобы соблазнить его! Нашла, чем соблазнять! Он решил держаться как можно тверже. Но старушка своим добрым лицом не выражала никакого сексуального стремления. Тогда зачем же горшок? И вдруг он встрепенулся от проблеснувшей надежды. Райком сменил гнев на милость! Горшок водворяется! Выступление состоится! Голодовка отменяется!

Поэт выжидательно смотрел на старушку. Она приблизилась к нему с горшком в руке и с лукавой улыбкой на губах. Она проникновенно сказала:

– Молодец! Спасибо от всех трудящих!

– За что? – спросил поэт, ничего не понимая.

– А то не знаешь, за что? – все еще улыбаясь, сказала старушка. – За то, что ты Кирбабаева назвал шакалом. Он шакал и есть. Весь район об этом знает, но никто не осмеливался сказать ему в лицо.

– Да не говорил я этого, бабуся! – взревел поэт.

– Тише! Тише! Меня нечего стесняться, – сказала старушка, не выказывая никаких признаков намерения водворить горшок под кровать.

Поэт понял, что райком своего решения не изменил.

– Буфет у вас есть? – спросил он, чувствуя, что надо перекусить и выпить, выпить, выпить.

– Есть, сынок, есть, – грустно ответила старушка, – только не ходи туда.

Осрамят. Приказали тебя не обслуживать.

– Это кто, Кирбабаев приказал? – спросил поэт.

– А кто ж еще. Он здесь хозяин. Но ты не печалься. Зайдешь за угол и иди прямо, прямо, прямо, никуда не сворачивая. Там хорошая шашлычная.

– Спасибо, бабуля, – сказал поэт, – черт его знает что здесь творится! И что это за горшок? Неужели им пользуются взрослые здоровые люди?

– Еще как пользуются, – почти весело ответила старушка, – уборная же во дворе! Ну, я побежала! Молодец!

Старушка исчезла с горшком. Видимо, горшок без присмотра нельзя было оставлять, пока окончательно не утвердится, кого он должен обслуживать.

Поэт вдруг почувствовал, что к нему возвращается энергия жизни. Глас народа его оживил! Он подтянул галстук, причесался и покинул номер, закрыв его на ключ.

Минут через двадцать он уже был в шашлычной. Там он уселся за столик и на последние деньги заказал шашлык, зелень и пол-литра водки. Официант почти мгновенно его обслужил. Поэт приятно удивился. Ни в Москве, ни тем более на ленивом Востоке этого никогда не бывало. Потом, случайно поймав взгляд буфетчика, он заметил, что тот гостеприимно ему улыбается и поощрительно кивает головой: мол, крой их, крой! Поэт понял, что слухи о его мнимом подвиге достигли шашлычной.

Теперь, целенаправленно озираясь, он заметил, что многие посетители шашлычной доброжелательно, с далеко идущей надеждой поглядывают на него и перешептываются. И тогда он понял, что слухи о его подвиге окатили город ожиданием освежающих перемен.

Он уже выпил почти всю свою водку и чувствовал себя великолепно. Со всех сторон шашлычной люди глядели на него с восхищением. Даже мое небольшое сопротивление режиму, вдруг подумал он, воодушевило город. Сейчас он как-то подзабыл, что никакого сопротивления режиму не было, а был только скандал.

Но теперь он этот скандал воспринимал как следствие сопротивления режиму.

Теперь он был уверен, что в его словах: на ловца и зверь бежит – была безумная дерзость, была брошена боевая перчатка Кирбабаеву в коридоре его же райкома! Коррида началась в коридоре, подумал он, как поэт, не упуская созвучия.

Он всегда считал, что поэт – борец со Злом, но в высшем смысле и никогда не должен опускаться до социальной борьбы. Хотя сейчас ему было приятно чувствовать себя социальным борцом, но и сейчас он понимал, что это детский, упрощенный вариант божественной борьбы со Злом.

Но этот упрощенный, социальный вариант борьбы со Злом имеет то преимущество перед божественным вариантом, что быстро и наглядно приносит реальные плоды.

Не так ли великий Эйнштейн говорил, что завидует дровосеку, потому что тот сразу видит плоды своих трудов.

И вот кругом в шашлычной шепчутся о нем. Даже после редких, но замечательных публикаций его стихов он нигде никогда не замечал, что о нем шепчутся. Пусть это минутная слабость. Но надо ее иногда себе позволять. Лучше синица в руке, чем журавль в небе! Побудь в небе, не ревнуй, журавль поэзии!

Вспомнив эту пословицу, он на миг смутился: как бы ее поняли в райкоме?

Лучше узбек в руке, чем туркмен в небе? Да пошли они все к чертовой матери!

Он выпил еще одну рюмку и окончательно воодушевился. А что такое райком? Вот я только шевельнул пальцем в сторону Кирбабаева – и весь город восторженно смотрит на меня!

Может, в конце концов, надо преодолеть брезгливость, написать вулканические стихи, вызвать взрыв народного гнева и взять власть в свои руки! Пора, пора преодолеть брезгливость и взять власть в свои руки во всей стране!

Водка кончилась, а он чувствовал себя так, как будто только сейчас и надо было начинать пить. В это время к нему стал пробираться молодой туркмен с двумя большими рюмками водки в руках. Он шел решительно и осторожно, чтобы не расплескать водку. И он остановился возле нашего поэта. Поэт почувствовал, что вся шашлычная притихла в ожидании его слов и действий. На вид подошедшему парню было лет двадцать. Однако, довольно фамильярно, подумал поэт, но выпить очень хотелось. К тому же рюмки, которые парень держал на весу, могли расплескаться. И народ ждал его слов.

– Я хотел бы с вами чокнуться и выпить, – с улыбкой сказал молодой человек.

Поэту пришла в голову благородная мысль, и он решил ее произнести, несмотря на то что эта мысль грозила оставить его без щедрой рюмки. Но на то мысль и благородна, что не заботится о корысти!

– Молодой человек, – прогудел он на всю шашлычную, – когда вам хочется с кем-нибудь выпить, вы прежде должны подумать, хочется ли выпить тому человеку, с кем вам хочется выпить!

Шашлычная восторженно зашушукала. Но парень не растерялся. Возможно, он угадал, что тому человеку хочется выпить.

– Я с вами хочу выпить, – сказал он, держа в растопыренных руках две большие рюмки, как два потенциальных факела, – потому что вы мужественный человек!

Вы сказали в лицо Кирбабаеву, что он шакал! Вы учите нас мужеству. Весь район знает, что он шакал, притом бешеный шакал, но никто ни разу не осмелился сказать ему об этом.

Поэт ощутил необыкновенный прилив духовных сил и одновременно понял, что дольше нельзя рисковать переполненной рюмкой в вытянутой руке: выплеснется!

Туркмены – прекрасный народ, подумал он, за них стоит повоевать. И, взяв у молодого человека рюмку, почувствовал, что она теперь в полной безопасности.

Он приподнял рюмку и прогудел на всю шашлычную:

– И это еще не последнее мое слово!

Они чокнулись и выпили.

– Если вы не спешите, – сказал парень, – окажите честь нашему молодежному столу. Мой отец – председатель колхоза, и я могу многое рассказать о подлостях Кирбабаева.

– Спешить мне некуда, – ответил поэт доброжелательно, – мой поезд в Ташкент идет завтра. Официант!

Поэт встал во весь свой внушительный рост.

– Уже уплачено! Уже уплачено! – замахал парень руками, и они двинулись к его столу. Там сидело еще шесть молодых людей, и они восторженно глядели на поэта. Кадры есть, подумал поэт, с революционной деловитостью оглядывая их; в сущности, басмачи были последними могиканами Белого движения.

Теперь он вместе с молодыми людьми продолжал пить и закусывать. Сын председателя колхоза рассказал, что Кирбабаев каждый месяц берет ясак с каждого колхоза района. Две тысячи рублей. Конечно, делится с первым секретарем, который, кстати, сам ничего не берет. Кирбабаев не только посреди родного села поставил памятник своему деду, но и протянул, конечно за счет государства, единственную в районе асфальтовую дорогу не только вплоть до села, но и до могилы деда дотянул ее!

Поэт с яростной горечью вспомнил о своих финансовых делах.

– А меня лишил шестнадцати рублей, которые я должен был сегодня получить за выступление в клубе! Мне придется три дня голодать в Ташкенте! – прорычал он и с ненавистью вонзил вилку в мясо, словно всю жизнь боролся, но не в силах был побороть в человеке низкое стремление есть.

– Вы не будете голодать! Не допустим! Это позор для Туркмении! – завопили молодые люди и полезли в карманы за деньгами. Они собрали двести рублей, по тем временам деньги немалые, и почти насильно сунули их поэту в карман.

Поэт, конечно, сопротивлялся, но было бы недостойным преувеличением назвать его сопротивление отчаянным. У него мелькнула и тут же стыдливо погасла мысль, что, оказывается, борцом за справедливость быть иногда даже выгодно.

В сущности, вся его поездка в Среднюю Азию должна была дать примерно такие же деньги. Теперь кое-где в ответ на хамство можно было и покапризничать с неопасным риском лишиться выступления. Терпеть нового Кирбабаева он был не намерен.

По давней привычке преувеличивать Зло и Добро, он успел рассказать молодым людям, что его телефон в номере отключили, чтобы он не мог связаться с Москвой, содрали со стены ковер, унесли горшок величиной с казан, которым он и не собирался пользоваться. А самое главное, его в буфете Дома колхозника собирались отравить, но нашлась прекрасная, мужественная женщина, которая, рискуя жизнью, предупредила его, чтобы он туда не ходил. Вот почему он здесь.

Сейчас он был уверен, что слова старушки относительно буфета были замаскированным предупреждением, что его в буфете отравят. Гнев молодых людей достиг предела. Для начала они предложили избить директора Дома колхозника. Но он им разъяснил бессмысленность преждевременного выступления, намекая на существование гораздо более обширного и далеко идущего плана.

Ему вдруг захотелось немедленно всей шашлычной прочесть стихи. Перебирая в голове, что бы им прочесть, он остановился на одном стихотворении, где есть упоминание песков пустыни, родственных местному Каракуму.

– Читаю стихи, слушайте! Их еще никто в мире не слышал! Вы – первые! – загремел он в притихшую шашлычную. Потом встал и прочел грозным голосом:

Страстей неистовых теченье -

Его раздвоенный заслон:

Щемящей совести веленье

И угрожающий закон.

К чему восторги пустозвона?

Что нам сулит грядущий век?

Чем совершенней суть закона,

Тем бессердечней человек.

Закон карает и возносит,

Закон прощает, а не друг.

И совесть человек отбросит,

Как архаический недуг,

Уже ненужную, как жабры

У ползающих по земле,

Как клинопись абракадабры

В песках азийских на скале.

Но и тогда, в грядущем то есть,

Последний, может быть, пиит

Вдруг ставку сделает на совесть,

И мир дыханье затаит.

Он кончил читать и продолжал стоять. Шашлычная затаила дыхание, как мир.

– Пропал Кирбабаев! – раздался чей-то голос в тишине.

– Вы поняли, о чем эти стихи? – торжественно спросил наш поэт, не задерживая внимания на такой мелочи, как Кирбабаев.

– Конично! – уверенно вдруг сказал один аксакал с белой кисточкой бородки, сидевший недалеко за столиком. – Закона хорошо, но совесть лучше. Вот о чем.

Мой отец тоже так говорил.

– Закона хорошо, но совесть лучше! – радостно закричали со всех сторон.

– В общем, правильно, – громогласно согласился поэт и сел на свое место.

– Пока у нас Кирбабаев, – скривил рот сын председателя колхоза, – у нас не будет ни закона, ни совести!

И тогда наш поэт произнес свой последний, сокрушительный тост.

– Я пью за великий туркменский народ, с которого начнется возрождение страны, – загремел он, – а что касается горшка из Дома колхозника, то считайте меня трепачом, если завтра перед отъездом в Ташкент я его не нахлобучу на голову Кирбабаеву!

Оказывается, об этом горшке местные люди много слышали и считали, что он оскорбляет национальные обычаи. Поэтому последние слова поэта потонули в таком воодушевляющем громе аплодисментов, что он решил их сделать предпоследними.

– В следующий мой приезд, а он не за горами, – продолжал греметь поэт и вдруг вспомнил, что здесь могут странно трактовать русские пословицы и поговорки. – Не за горами, – стал разъяснять он, – по-русски значит: не долго ждать. Дело в том, что Россия долинная страна и горы всегда далеко…

Так вот. В следующий мой приезд мы завернем Кирбабаева в асфальт, который он протянул до своего села, и завернутого в этот асфальт поставим рядом с памятником деду!

– Рядом! Рядом! Рядом! – зашумела шашлычная. Аплодисменты, смех, свист.

Провожать его пошло человек пятнадцать молодых людей. Давно у него не было такого легкого, веселого настроения. А может быть, и никогда в жизни не было. Однако на углу, где надо было сворачивать к Дому колхозника, он распрощался с провожатыми, не без основания опасаясь, что они могут попытаться этот дом взять штурмом.

Он горячо расцеловался со всеми и вышел на пустынную улицу, ведущую к месту его ночлега. Уже метрах в двадцати от Дома колхозника он заметил, что на тротуаре стоят три милиционера. А рядом на улице машина. Оказывается, пока он со своими поклонниками двигался к месту ночлега, кто-то позвонил в милицию и сказал, что лектора из Москвы провожает пьяная воинственная толпа молодых людей. Начальник милиции дал приказ: толпу разогнать, но лектора из Москвы не трогать. Увидев, что он один, милиционеры с веселым любопытством наблюдали приближение человека, который осмелился назвать шакалом самого Кирбабаева.

Наш поэт, увидев милиционеров, тем более улыбающихся, вдруг решил ошарашить их гомерической шуткой.

– На ловца и зверь бежит! – загремел он на всю улицу. – Я зверь! Я бегу на ловца!

И побежал на милиционеров, не в силах соразмерить свой бег ни со своим грузным телом, ни со своим опьянением. Не сумев вовремя притормозить, он врезался в среднего милиционера, повалил его и упал на него.

Милиционеры, сочтя этот поступок за агрессивное нападение, стали нещадно его колотить. Он сопротивлялся, он выл, как зверь, попавший в капкан, но, несмотря на свою могучую силу, ничего не мог сделать. Их было трое, а он один. Они были трезвые, а он пьян. Они всю жизнь избивали людей, а он никогда.

Все это случилось в тот недалекий исторический период, когда кандалы в Средней Азии уже исчезли, а наручники еще не появились. В конце концов милиционеры продолжающего вырываться поэта обвязали веревками, перебрасывая и затягивая их с бесстрастной ловкостью крестьян, навьючивающих верблюда.

Они вбросили его в машину и увезли в больницу. Там ему сделали успокаивающий укол, и он, запеленутый в веревки, уснул глубоким, привычным сном побежденного богатыря.

На следующий день он проснулся в купе поезда, мчавшегося в Ташкент. Он потянулся, с удовольствием почувствовав, что на нем нет не только веревок, но и одежды. Она аккуратно висела над ним. Да не приснилось ли ему все это?

Но, увы, боль в теле и синяки на голых руках были реальны, и, значит, Кирбабаев был реальным. Он хорошо помнил, с какими шутливыми словами он помчался на милиционеров, а что дальше было, представлял смутно. Он только точно помнил, что милиционеры не оценили его шутки.

А поезд летел все дальше и дальше. Потом поэта долго беспокоила мысль: как его внесли в поезд? Уже раздетого до трусов и майки, в которых он сейчас лежал, или раздели его здесь? Ему очень хотелось, чтобы все было достаточно прилично и раздели его уже здесь, в купе.

В провинции почетного гостя после затянувшегося банкета, случается, приводят в купе придерживая за руки. Иногда приносят. Особенно ревизоров. А потом раздевают и укладывают в постель.

Ему хотелось, чтобы вагон считал его почетным гостем, которого привели после слишком обильного застолья. О веревках он и думать не хотел. Об этом думало его затекшее тело. О том, что он был приведен как исключительно почетный гость, указывал тот факт, что он в купе был совершенно один. Но с другой стороны, это могло быть следствием ограждения пассажиров от буйствующего человека.

Вдруг его пронзила мысль, целы ли его деньги, документы, билет. Его твидовый пиджак висел над ним на крючке. Он лихорадочно порылся в карманах и, не веря своему счастью, убедился, что все на месте.

Правда, состояние его пиджака, согласно его же теории, едва тянуло на чесучовый китель третьего секретаря. И даже одной пуговицы не хватало. Он раскрыл чемодан: коробки с фильмом и одежда были на месте.

Теперь, при его богатстве, перед тем как в Ташкенте явиться к начальству, он приведет себя в полный порядок. Он сменил брюки и галстук, оставив в купе пиджак отдыхать после милиционеров, и с екнувшим сердцем убедился, что купе не заперто снаружи. Вариант буйного пассажира отпадал. Да, конечно, его в приличном виде привели сюда. Или принесли? Главное, что в приличном виде.

Опохмелиться! Без единого слова! Склонный преувеличивать все хорошее, как и все плохое, сейчас он был потрясен, что деньги и все остальное имущество уцелело. Туркмены – прекрасный народ, думал он, а Кирбабаев исключение.

Такой честной милиции нет нигде в мире! И даже хорошо, что они меня связали, думал он в порыве благородства, а то я мог бы в ярости пьяного буйства раскидать этот глинобитный городок!

Тут мы должны слегка подправить нашего поэта. По более поздним сведеньям, дошедшим до нас через сына председателя колхоза, начальник милиции, распоряжаясь отправить в Ташкент все еще спящего не то летаргическим, не то вечным сном странного лектора и чувствуя, что дело принимает межреспубликанский оборот, пригрозил милиционерам, занятым телом и вещами нашего поэта, что он лично из своего личного пистолета пристрелит каждого из них, если у лектора что-нибудь пропадет.

Все быстрее и быстрее двигаясь в ресторан, как бы отстреливаясь от Кирбабаева ржавыми выстрелами хлопающих за спиной железных дверей, наш поэт все восторженнее думал: о, как я был прав, что никогда в жизни не допускал в своих стихах социальной темы! Не допускал и не допущу! Энергия стиха и никаких идей!

\* \* \*

После перестройки его книги, обгоняя одна другую, стали появляться на прилавках. Он изъездил Европу по следам своих поэтических снов. По его словам, сны были интересней.

– Хорошо, что я успел о Европе написать до того, как увидел ее, – говорил он, – там много интересного. Но так написать, как я написал до того, как увидел ее, теперь я не смог бы.

Сейчас он один из самых видных поэтов страны. Недавно он получил Государственную премию.

Ему эту премию вручал лично Ельцин, впрочем, как и всем остальным. Но навряд ли, да и просто невозможно представить, чтобы кто-нибудь из остальных лауреатов услышал слова, сказанные нашему поэту. Если верить ему (я хочу сказать – поэту), Борис Николаевич Ельцин, пожимая ему руку, широко улыбнулся и сказал:

– На ловца и зверь бежит.

– Мистика! – по привычке произносил поэт, пересказывая нам слова президента.

– А разве не мистика, – добавлял он в сторону тех, кто явно сомневался, что президент произнес эти слова, – что я – поэт, всю жизнь гонимый издательствами, стал лауреатом Государственной премии?

– Юра, – сказал я шутливо, – ты, оказывается, не великий поэт.

– Почему?! – взревел он.

– Вспомни судьбу великих русских поэтов, – сказал я, – разве у кого-нибудь из них она увенчалась таким блестящим успехом?

Он помрачнел и надолго задумался.

– Так что же?

– Еще не вечер, – сказал он впервые в жизни тихим голосом. – Еще не вечер, – сказал он впервые в жизни тихим голосом.